

EMOTIONS ARE MEANINGLESS



FRUSTRATION

Frustration

ЭМОЦИИ БЕССМЫСЛЕННЫ

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69713182

SelfPub; 2024

Аннотация

А завтра точно будет лучше, чем вчера? Главные герои рассказа – современные подростки, выпускники, которые только-только начинают переступать порог взрослой жизни. Жуткая неопределённость преследует их в новом, ещё незнакомом мире, где всё так непонятно и странно. Собравшись на турбазе у озера, они, кажется, впервые по-настоящему задумываются о своих целях и возможностях, о жизни в целом, о смысле человека и общества. Спорят друг с другом, отстаивая свои убеждения, доказывают, поднимают вопросы об отношениях, любви, идее, вере, мечте... "Emotions are meaningless?" – книга, не способная никого оставить равнодушным, в ней каждый найдёт отражение собственных мыслей, и даже взрослый человек вспомнит себя в молодом возрасте. Произведение пропитано юношеским максимализмом, стремлением к грандиозному, и, тем не менее, рассматривает каждую проблему со всех возможных сторон. Однако объективного ответа ни на один вопрос не даёт: право выбрать свою истину остаётся за читателем.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	43
Глава четвертая	77
Глава пятая	98
Глава шестая	115
Эпилог	123

Frustration

ЭМОЦИИ

БЕССМЫСЛЕННЫ

Моему другу посвящаю.

М. С. Б.

Глава первая

– Уснул? – раздался чей-то голос откуда-то снаружи.

Он пробился ко мне сквозь темную липкую дремоту и потому послышался для меня странным и далеким: одновременно тихий и громкий, он взвыл и взорвался в моей голове, и я резко открыл глаза. Высоко надо мной встало нежное оранжевое небо, и если бы не белые взбитые клочки, плывшие по нему, – облака, – то я непременно бы принял его за медную полированную пластину. Я лежал у самого берега озера, и мои ноги размокали в прозрачной теплой воде. Мое сознание еще не успело полностью ко мне вернуться, и потому, когда кто-то ткнул сзади мою спину, я испуганно бросился к воде, почти что перекувырнувшись через себя, где мои ноги и руки продолжали биться в судорожном страхе, – я так молниеносно подлетел с места, точно меня выкинула земля. Я обернулся, уже лежа на мокром цветном песке: там, где я мгновением назад мирно отдыхал, стоял Паша Берзин, и это он ткнул меня в спину. Его красная бабочка, развязанная и потрепанная, висела на его шее, огибая высокий поднятый ворот, а белая рубашка была глубоко расстегнута и оголяла грудь. На его лице ни одно выражение не задерживалось дольше, чем на секунду – затем оно расплывалось и перетекало в следующее, и так все черты на нем растекались, как взмученная лужа. Я подумал, что он уже явно вобрал в

себя всего достаточно: и еды, и напитков.

– А-а... Что? Основные мероприятия торжественного характера прошли все? Конец выпускному? Илюша... Илюша-а-а! Как бы не так, дружище. Идем, поможешь мне с со-сисками. Идем, идем... – Паша несильно пошатывался, но вместе с тем и телом своим еле управлял. Руками он произвольно и нелепо размахивал, из-за чего рюмка в его пальцах, наполненная каким-то крепким коньяком, выливалась и разбрызгивалась на траву. Говорил он протяжно и тяжело: пропитанный алкоголем, разбухший язык с трудом волочился за зубами и, кажется, потерял способность образовывать слова.

Я заметил Паше, что ему уже хватит на сегодня и пора заканчивать распивать, несмотря на грандиозность происходящего события, но помочь согласился. Осторожно поднявшись с песка, я постарался отряхнуться и с силой зашоркал по рубашке, почти вдавливая в нее ладони, но серые мокрые пятна на ней от этого только еще больше разрослись и крепко приклеились к телу. Когда я наконец ступил на травянистый уклонистый бережок, Паша уже далеко от меня ушел: на ломаных, точно железных ногах он брел метрах в десяти впереди, и его пошатывающаяся фигура напоминала ненадежную конструкцию, которая вот-вот покачается из стороны в сторону и развалится по земле. Я бросился его догонять, но примерно на полпути до мангала меня окрикнула небольшая компания.

– Илья! Куда ты-то там собираешься?

– А? В Екатеринбурге, – я ответил коротко, но еще с той дремучей размазанностью в голосе, которая обычно и выдается в первых звуках после пробуждения. Конечно, это был простой вопрос, появившийся и задавшийся так, между делом, второстепенно, который не нес за собой продолжения и не вытекал в диалог, и, наверное, обо мне в той компании забыли так же внезапно, как вспомнили, в ту же секунду, когда получили ответ. И все же из побуждений этикета и в силу своей воспитанности я подошел к ним, чтобы постоять минутку-другую. Собравшись вокруг двух спорщиков, народ слушал их, а затем, почти после каждой фразы, начинал вставлять что-то от себя. Их голоса не раздавались на всю территорию турбазы, и все же каждый из высказывающихся отбивал слова четко и твердо, как будто определяя места точкам, и от этой уверенной речи так и веяло ощущением собственной важности: я и вправду почти мог потрогать ту самонадеянную значимость, которую они без меры и сомнений добавляли во все произнесенное без пропусков. Казалось, они воображают... нет, они правда искренно считали, что их буквы имеют серьезный вес и сами они исключительные фигуры в этом кружке – да и не только в этом.

Первым спорщиком был мой хороший знакомый Дима Подскребко; он учился не в моем классе, а в параллельном, но я с ним отлично общался. Вторым был какой-то парень, лицо которого я, конечно, помнил, но не более.

– А я тебе говорю, что своя квартира – это самое оно; са-

мое чудесное, что только может иметь студент, не считая машины. Выходя на пары, закрываешь дом, суешь ключи в карман и весь день пребываешь в могучем и приятном чувстве: кто откроет этот дом без тебя? Своя крыша над головой, не чужая! Твой дом, твои ключи – твое! – сказал тот, второй, которого я не знал. – Такое могучее чувство...

– Мое.. Ну, друг, а мне и в общежитии будет неплохо. Может быть, крыть меня будет и чужая крыша, зато сколько под ней со мной случится приключений – вот это яркая жизнь.

– А девочку свою ты куда водить будешь? В свою коморку, в которой помимо тебя живет еще три-четыре человека? Отлично, дружище, знаешь, ты гений.

– Нет никакой проблемы, в кино будем с ней ходить, а квартиру вместе купим, чтобы сразу общая была, на семью.

Раздался протяжный неразличенный гул, в котором были намешаны как одобрительные, так и осуждающие тона голосов.

– Семью? Ситуация! Я бы не стал торопиться с этим. Куда оно все надо в двадцать три? Только однажды за жизнь мы проживаем свои лучшие годы.

– Только однажды за жизнь мы проживаем каждый ее момент, а я не могу быть уверен, что доживу до сорока – случается всякое.

– Да брось, Дима! Брось! Тебе открывается весь мир! – снова начал тот, второй. – Ты представляешь, как это выглядит? Тебя приглашают в огромную, бесконечную залу мага-

зина и указывают на гигантские витрины. Свобода, какой до нашего не бывало, и вольная дорога, безмерная, на которой буквально рассыпаны наслаждения и прелести – абсолютно все, что есть на нашей планете, и даже то, чего нет. Выбери: страны, машины, деньги, дальние моря и отели – веселье и радость! А ты подойдешь и тихо промямлишь: мне, пожалуйста, жену, детей и тишину. Ты что? В своем ли ты уме?

– Не тишину, а тихое счастье! Вся эта беззаботная жизнь, может быть, и правда замечательна, но даже по таким просторам широко шагать одному совсем невесело – одиноко, а одиночество никогда ни к чему хорошему не приводит, какой бы ни казалась сладкой жизнь. Я всего лишь хочу на своих путях быть с теми, кому я нужен, вот и все.

Все замолчали – пару мгновений ни звука, и такое странное это было молчание, так быстро наступившее после неугомонных речей, – оно показалось мне неестественным, как будто бы это я оглох или у всех онемели языки, а не действительно никто не говорил. Но оно тут же пропало, так же неожиданно, как появилось, прерванное Димой:

– Да ладно! Я же не отказываюсь от пива, вы чего? – и вновь заговорила публика: раздались одобрительные смешки.

К этому времени я уже изрядно подзадержался и решил было уходить, но остановился еще на несколько мгновений, прислушиваясь к грубому поношенному голосу, принадлежавшему какому-то взрослому мужчине. Чей-то отец, веро-

ятно, проходил мимо и, как и я, случайно оказался вовлечен в компанию зрителей и слушателей. И похоже, он был добрым мужичком, поскольку даже в словах ощущалась простенькая улыбка и было еще что-то хорошее и приятное – нефальшивое, шедшее изнутри, что также наследило в его речи. Начал он с того, что рассмеялся, закрытый где-то в группе на правой стороне круга, в углу от меня.

– Вы такие юные! Правда, я вам очень завидую. Мне бы в свои восемнадцать вернуться – ох, все бы за это отдал... Серьезно! Но вы, ребята, глупо ошибаетесь. Чудно: вы заблуждаетесь в том, что считаете заключение серьезных отношений особенным и таинственно-прекрасным моментом. Я вам так скажу: потом это для вас станет бытовой вещью, она подкрадется так, что вы и не успеете ничего понять! Сама идея заключения таких теплых чистых отношений, по большому счету, не случалась по любви никогда. Книжки-то читали? Влюбленные кончают трагедией, и тем более в вашем, юном возрасте... Люди сходятся и играют свадьбу в свой первый раз в жизни только оттого, что больше ничего не остается – так надо. И только потом начинают присматриваться друг к другу в поисках родной души, однако чаще всего, как это ни прискорбно, поиски подходят к концу тогда, когда какого-то особенного выбора-то и не остается. Любовь рождается в людях после долгих лет терпения, когда они уже въедаются друг другу в мозги, – вот так он сказал.

Как это странно – этот мужчина совершенно отрицал про-

стые любовные отношения, настоящие отношения, в которых две души счастливы и слиты в существующей между ними гармонии. Я тут же про себя его осудил: «Что за вздор, дядя!», и ведь так решил не я один – его жестокие слова побили и задели Никиту с Аленой. Они учились в параллельных классах, но вот уже пару с лишним лет составляли милую прочную пару. Они отступили из толпы и медленно, в обнимку, поплыли вниз по уклону к бережку озера. Честно, я их понимал. Мне не помнится, чтобы они переставали любить друг друга на протяжении ушедшего времени, и более того, мне казалось, что каждое новое мгновение они ценили друг друга еще больше, чем в прежние дни, начиная с самого первого. Их любовь росла и только преисполнялась, но не сходила – я уверяю, и Никита, и Алена с каждой неделей становились все больше счастливыми, и их улыбки растягивались и светлели. Не было иначе – а этот мужчина отрицает! Но он был, конечно, пьян, да и жил по-другому – иное поколение, да и... И все-таки... Все-таки что-то было в его словах, что-то громоздкое и непроверяемое, что-то верное и истинное, что я точно видел сам и потому этому чему-то верил. Он был и не прав, и прав одновременно – правды бывает много, и я не захотел с ним спорить, в особенности в таком вопросе, хотя мне до кома в горле и дрожи в груди хотелось вступить за любовь и счастье. После того как мужчина исчез – так же незаметно и бессмысленно, как и появился, побредя дальше в сторону взрослых, – кто-то завел разговор

о поступлениях, и я вновь остался, вместо того чтобы идти к мангалу, – так вышло. Какая-то девочка с рыжими волосами, мало мне знакомая, спросила у Саши Рафта, куда он собирается поступить.

– На летчика хочу, – ответил парень, – в Красноярск.

– А почему? – интересовалась та девочка.

– Да нравится мне просто, ну, не знаю... – рассеянно бросил Саша. – По баллам прохожу, да и вот, пойдет. А ты куда?

– Хотела раньше в Казань поехать, удобно было бы, ведь у меня там родственница живет, но сейчас...

– Да лишь бы поступить, – опередил Саша.

– Хотя бы куда-то, – она подхватила, – чтобы взяли.

Этот их разговор напомнил мне преувлекательную историю о всей моей параллели, когда в сентябре каждый, кого ни спроси, собирался поступать или в Питер, или в Москву, а уже потом, ближе к экзаменам, весной, каждый отвечал, что единственное его желание – просто поступить, пусть даже в местный университет. И может быть, говорили они это с некоторой тоской и разочарованием, но это было так же незначительно по отношению к выраставшей абсолютной радости попасть хоть куда-то, как легкая запыленность на новой яркой вещи.

Ладно, хватит – вот теперь я точно застоялся. Развернулся и побрел к Паше, который уже махал мне руками с мангальной зоны; он так живо это делал, импульсивно и дико крутя локтями и кистями, и мне невольно пришлось догадаться,

что я осел.

Глава вторая

Только когда передо мной, наконец, оказался толстый красно-коричневый кусок мяса с красивой румяной коркой, я успокоился. Свинина у меня вышла отлично, и теперь я вовсе не боялся, что мог кому-нибудь не угодить. Официанты все еще носились по веранде из одного конца в другой, подавая блюда, салфетки и приборы, но вся наша выпускная свита, а также родители, уселись на свои места и громко ожидали последнего пира. Вокруг стола, пестрившего салатами и разноцветными бокалами, не утихал шум: трещало разлитое на сотню человек шампанское, звенящие сверчки не переставая кусали воздух и о чем-то разговаривали люди. Передо мной сидели две девочки и женщина – вероятно, чья-то мать, – и я не помню, чтобы они замолкали хоть на секунду. Отовсюду, со всех углов стола летел простой, преисполненный радостью смех, и такой он был громкий и веселый, что, казалось, нарочно посылался людьми, чтобы позадирать неудачи и горе своей беспечной задорностью и широкой улыбкой, чтобы хаос жизни знал: какие бы козни он ни строил, все они ничто, и никого они не коснутся. Все вокруг было такое радостное; я действительно не могу припомнить ни одного лица без улыбки – там, у стола, мне представилось, что смеялся сам воздух.

И при таком счастливом шуме, заполнившем веранду, бы-

ло совсем спокойно, бестревожно: гладкий свет ярких люстр окутывал всех и как будто бы обнимал. Лампы иногда источают такие гнилые мерзкие лучи, от которых становится жарко, тесно и просто противно, они, как ядовитый туман, навязывают в мозгу что-то терпкое и заносчивое, отбирая все хорошее и здоровое, а есть другие; так вот этот свет был таким, который кладет на пространство мирное и спокойное, внося во все окутанное окружающее что-то счастливое и приятное, от чего становится удобно и комфортно – как кажется, везде. И все было хорошо. Один раз я обернулся посмотреть на правый конец стола и поразился тому, как дружно Вася Винокурин разговаривал с Лешей Горбинкой: на протяжении многих лет Вася, слывший хулиганом и задирой, без конца кого-нибудь обижал, и Леша был как раз тем скромником – незаметной фигуркой, – к которому все приколы и издевки относились. Не проходило и дня, чтобы из Васи не выходило пары обидных усмешек, но это были вовсе не такие жидкие и противно-въедливые, как весенняя грязь, замечания, которые с особенной вредностью и язвой получаются у девочек, но всегда были липучими и надоедливими. И вдруг они сидели рядом, о чем-то шутили, и их лица были просты, а веселые блестящие улыбки действительно ничего за собой не прятали. Они смеялись и просто общались, как хорошие друзья, и от этого наблюдения в душе моей разлилось что-то теплое, что приумножило и без того великое счастье, бегущее внутри вместе с кровью.

Перед тем как все блюда были расставлены, в самое последнее мгновение до объявления долгожданного ужина, сквозь большую раму я взглянул на небо. Медное оранжевая пластина начинала тускнеть, и ее краски медленно отмирали и блекли, открывая бледную воздушную пелену. Только одна едко-красная полоса горела у самой линии горизонта, изрезанной и погнутой далекими темными холмами. Ветер не задувал за шторы и потому даже не проникал к нам на веранду. На улице уже значительно потемнело к тому времени, и ночь начинала пускать по воздуху мрак, как корень вращая в пространство и очерняя лежащие в нем предметы. Нас же на веранде гладила яркий теплый свет и гулял раскатистый, ничем не озабоченный смех, и чем выше он рассекал по веранде, тем самодовольнее и увереннее в незыблемом, разумеющемся и должном счастье был его источник. Но таких было много. Безмерно счастливыми там сидели и мы, и наши родители, и у всех не сходили с лиц широчайшие светящиеся улыбки, а с ума не убиралась беспечная радость, точно она прилипла. Да я и сам пребывал в наилучшем расположении духа – все было слишком хорошо, никого теперь уже ничто не заботило: никакие экзамены, оценки и все прочее, что так бессмысленно казалось страшным от тупого ожидания. Теперь все это позади, а предстоящее – только впереди.

Напившись и наевшись, люди, ленивые и сонные, стали много говорить и ссориться, и начал это Андрей Петрович, усатый и уже седой мужик. Он развалился на стуле, заползая

ногами под стол, и протянул так же развалисто, – его язык, набухший и отяжеленный коньяком, с трудом ворочался во рту, и от того, что Андрей Петрович напрягался, чтобы выговорить слова, все произнесенное им слышалось надрывно и громко, как бы со злобой:

– Растили мы конфетки, да вышли вон какие детки! – он был совсем пьяный, в стельку, но послужил зачинщиком всего события.

Буквально сразу, сквозь разноцветный шум раскатистых смешков и разговоров, начали возникать вовлеченные голоса, и гул медленно стал сплетаться в одну беседу, отрывая людей от личных диалогов и приклеивая их к общему обсуждению.

– Хорошие ребята, хорошие, – не согласилась какая-то женщина, аккуратно откладывая столовые приборы.

– Ленивые дети и неопытные; не такие, какими были мы, – наоборот, поддержала другая женщина.

– Перестаньте, у них все будет хорошо – еще молодые! – возразил ей мужчина, отпивший из желтого бокала. – Время не несет ничего страшного, жизнь у них спокойная, мирная, а главное, вся впереди...

И наверное, все бы пропустили это мимо ушей и никто не стал бы ругаться, если бы не встрял еще чей-то отец. Отведя желтые лямки брюк и хлопнув ими по рубашке, он грубым низким голосом, так, чтобы все слышали, кто сидел за столом, произнес с вызовом и надменно:

– Дрянное время, и воспитание подобающее, – он бросил салфетку в пустое блюдо, измазанное в соусах и крови от мяса. – Саша, они же никого не уважают. Они крутые, – и он изобразил на кулаках «рога», – они взрослые, сами себе указ, кодекс и закон; им же все можно! Им весь мир сейчас должен.

Последовало несколько одобрительных выкриков, а мы, оскорбленные и задетые, не смогли уже промолчать – молодая горячая наша кровь яростно разукрасила его слова, придала им ядовитости и сама вскипятилась, как в чайнике, приведя нас в жестокий гнев. Я сам так сильно обозлился, что удивился себе – так это было странно. Мы стали отвечать что-то, перебивая друг друга, как голодные курицы в курятнике, но мямлили, как недовольные трусы, и вся наша сплетенная речь непонятными звуками и отголосками дробила воздух.

И тогда с левого края самый раздраженный, дрожаще-язвительный голос раздался на всю веранду, разрезав бестолковые вопли остальных, и пронзил всем умы; он точно вызывал нас всех на дуэль – всех разом – и был уверен в своих жестких словах как в чем-то правильном и логичном:

– Интересные мысли. А знаете, вроде бы здесь не тот свиарник, чтобы нести эту чушь?

Я сразу узнал этот голос – он принадлежал Жене. Это мой одноклассник и хороший друг: он блондин, со шторами и в круглых очках, известный в школе своей отличной учебой.

Женя обожал с кем-нибудь повздорить, как и мы все, и единственным, что его в этом отличало, был его ум. Он располагал нужными фактами, и не просто располагал, а умел выстроить их и доказать грамотной, иногда заумной речью – за это его не любили учителя; был он – как сказать? – конфликтный, что ли, слишком.

– Вот посмотрите! Никакого уважения, ничего не знают, зато так уверенно говорят! – крикнула какая-то женщина с другого края.

– Посмотрите! Дрянное время! – гневно сказал тот мужик.

– Завидууй сколько хочется тебе, дядя, моя жизнь у меня впереди, – все так же грубо и твердо ответил Женя, подтрунивая над мужичком.

Веранду залило неодобрительными вздохами: ух и эх, и через эти многоголосые волны неопределенных, нечетких звуков проронилось несколько более отчетливых, но смазанных восклицаний, стихших, утонувших и затерявшихся в общем гуле. Веранду ими захлестнуло, как бризом, они пронеслись из конца в конец и растаяли. А Женя, разгоряченный и злой, вспылел и продолжил, точно надавливая лезвием на тела, – и надавливал не на кого-то конкретно, а на всех разом, сразу на всех.

– Вы только ругаете! Хвалите, когда мы поступаем удобно для вас, и сразу начинаете кричать, когда боитесь! Вы только осуждаете и кричите, и осуждаете и кричите, и осуждаете и кричите – и все! Мы говорим одно, а вы нам другое, одно –

а вы другое!

– Евгений, успокойся. Анатолий Викторович пьян, и ты тоже пьян. Прекратите, пожалуйста. Это не имеет значения, – попросила женщина, сидевшая рядом с ним. Это была не его мама, наверное, просто женщина, состоящая в родительском комитете. Она аккуратно попыталась свести конфликт, но все мы были уже достаточно глубоко и обидно задеты колкими словами – и мы, и наши родители. Чья-то мама, по голосу далеко не трезвая, вяло выбросила где-то со стороны:

– Невоспитанные! Верно, Анатолий Викторович, совсем... – и оборвалась, икнув. Она не была пьяной в стельку или во всяком случае осторожно притворялась, потому что говорила вполне спокойно, ровным тоном.

– Печаль-беда, – тускло добавил мужчина откуда-то из центра.

В отличие от многих, я пытался привести себя к равнодушному отношению ко всем этим предъявлениям, потому что для меня они ничего не весили и были жалкими. И честно признаться, еще я считал молчание лучшим способом донести до всех, что они идиоты, а я важнее всех, и оттого молчал с превеликой гордостью. Однако в частности для Жени... Он ведь действительно вспыльчивый парень. Он очень интересно смотрел на мир и презирал большинство – и к этому его чувству ненависти нельзя привязать слова «мизантропия» или «юношество»; нет, там было что-то особенное и

трагическое, совершенно не глупое, а обдуманное, расставленное в голове по местам, разумное и больное, горькое и страшное. Ведь никто не в силах контролировать и сдерживать пьяных – в пьяных по-настоящему проявляется сила воли в высшей ее степени: они хотят идти – идут, хотят пить – пьют, хотят говорить – говорят. Мы и не могли никому помешать. Разбухшие от вин языки опережали их умы на предложения и целые мысли, и они начали выговариваться – все, кому хотелось. Но долго говорить у них не вышло: вскоре Женя перебил всех, задушив чужие восклицания, как беспомощных мышей, и раздался его голос на всю веранду уже один – громкий, злой и пылающий. Я знал, что это закончится на грубой ноте, потому что Женя был именно таким – упрямым и несгибаемым.

– Вы хотите, чтобы вас уважали, хотите, чтобы мы вас уважали! Но что? Вы перебиваете, когда злы, не давая нам и слова. Кричите, орете, строите из себя жертв, а из нас делаете главных подлецов, потому что вам так удобно: считаете себя правыми. Вы нас уважаете – мы уважаем вас, это просто! Но у вас не так, за редким-редким исключением встречаются правильные, действительно правильно мыслящие. Но вы же – вы такие же дети, как и все люди этой планеты! Человеческий фактор: удобство, субъективность, бестолковость!

– Да о вас просто беспокоятся! Хотим для вас лучшего, просим вас всеми способами учиться и трудиться, чтобы было чем заработать на жизнь, господи!

– А что насчет наших настоящих желаний? Вы только осуждаете, осуждаете, осуждаете! Все эти люди только для того и рождены, – Женя стал задыхаться и отпил из стакана с водой, – но вот что! Что они сделали? Что сделали они для мира? А ни черта они не сделали! Идиоты, бездарности, материал!

– Да уж побольше вашего и мы сделали.

– Все это бессмысленно и глупо! Что от этого будущему? Оно не стало ни ближе, ни дальше от вашей конторской работы. Семья, деньги и долгая спокойная жизнь – все это так пусто, так зря, так... Это высшие ценности только для тех, у кого нет больших стремлений и великих идей! Что жизнь ваша? Тихое личное счастье? Эгоизм – существовать для себя; надо жить вне времени, размышляя над вечным, а не бытовым, и...

– Вот это здорово! В настоящем не успел родиться – в будущем живет.

– Для себя не пожил, уже стараются для грядущего! В будущем-то правильные мысли нужны.

– Вы же просто!.. Ну конечно... иерархия опыта!.. Вы же так жили: лишним не интересовались, знали только то, что от вас хотели, чтобы вы знали, и потому представляли жизнь узко, но вы не понимаете! Сейчас зарабатывать деньги совсем несложно – условия труда выросли во всех отношениях, но вы боитесь, боитесь и не верите, и заставляете идти скучной, примитивной дорогой, которой шли вы. Вот толь-

ко!.. Вот только мы и правда другие, потому что мы больше знаем, мы больше понимаем, мы можем быть приспособленнее! Вы и сами осуждаете всех, так же как и боитесь чужих осуждений. Бессмысленно, тупо, безнадежно! Никакой логики – только опыт и факты, не обработанные и не проанализированные должным образом, в верном направлении, если угодно!

– Приглянулся миру революционер!

– Да, приглянулся! Нашелся! Потому что люди стали слишком расточительны из-за своих порядков. Вспомните, вспомните, потому что вы забыли! До революции жизнь общества протекала так же, как и сейчас стала протекать среди нас. Мы спим, сколько хотим, и, даже живя в одном городе, можем вести совершенно отличный образ жизни: кто-то просыпается только тогда, когда кто-нибудь другой ложится спать! Завтрак путается с ужином, время сбивается – ваше поколение назовет это хаосом, а я скажу, что человек возвращается к своим вольным истокам, к свободе и индивидуальности, неблагородно затерянной в вашу смуту. Из-за вашего порядка вы совсем разучились определять вещи такими, какие они есть, и стали не способны отделить нужное от ненужного – у вас есть только расписание и таймер на часах. Вы просыпаетесь черт знает в какую рань, чтобы бежать туда, куда вам, может быть, и совсем не надо. А зачем? Так сказали. Вам сказали, что надо, и вы уже мешаете свое Я в кучке таких же безвольных, зависимых, не думающих. И так

продолжается всю вашу жизнь – исполняете чужие приказы, чужие идеи, чужие планы; вы даже ноете об этом дома, иногда плачетесь о том, как все достало, и грозитесь навсегда сидеть бездельно дома, но ничего решительно не делаете. Возвращаетесь к своей работе, забывая о настоящих интересах. Нет? Нет-нет, замолчите! Замолчите – что вы там пытаетесь возразить! Вы работаете на деньги и в них видите всю ценность своему труду... И карьера – пара красивых слов на бумажке, никому не сдавшихся, кроме вас. С детства вы не умели распределить предмет занятия на нужный вам и бесполезный совершенно. Вы никогда и не думали о том, что можно не делать что-либо, если совесть позволяет предпочесть ему нечто другое, только полезнее и интереснее, нужнее! Так же нельзя? Конечно... ну вот и нельзя... Но умный человек сможет найти себе необходимое ремесло! Даже пренебрегая остальными, потому что он сам определяет себе цель и план, не движимый кем-то, – это не иллюзия самостоятельности, как у вас, это действительная воля и характер. Посметь – и взять, если хватит совести и чести. А совесть позволит тому, кто и вправду знает, ради чего и к чему идет. Он сам задает себя. А вы? Ваша жизнь просто вертит вами в бесчисленных непонятных вещах: прошло время на обед – прозвенел таймер? – беда! Ну так скорее бежать на рабочее место, ведь это важнее обстоятельств и здоровья. Всем все равно на вас, но почему вы сами позволяете им уничтожать вашу правду? Вы принимаете даже чужую правду, за-

тыкаясь! Что вы думаете? Это вещи крутятся вокруг вас? Да! Непременно! В грязное время Средних веков люди тоже думали, что мир крутится вокруг них, однако же как есть? Это Вселенная крутит нас по себе, швыряя по всему своему пространству. Вы ужасно расточаете свои ресурсы! Вы делаете все, не преуспевая ни в чем, хотя могли бы позволить себе осуществить прорыв в одной деятельности, завалив весь прочий ненужный сброд. Вы в нем вянете! Вы могли бы жить по-настоящему – и я не хочу ничего слышать про жертву и прочий лепет оправданий. Вы делаете свою благодетель вынужденно и все равно ходите по улицам злые, оскаленные – в этом мало благородного! И не просто, а посметь с разумом, правильно. Безделье – мрак, но полезное занятие вместо бесперспективного – вот о чем я. Вы плохо думаете – очень слабо, совсем не размышляете. Большинство ваших умов тупы и близоруки на видение современной жизни! Масштабность мышления, объективность – вот правильный разум. Но вы с детских лет загнаны в систему, вами беспощадно управляют. Гениев, занимающихся делами по своим правилам, а не по чужим, вы осуждаете и отвергаете. Но меня радует, что мир исправляется – вот к чему мы идем в будущее! Вот к чему иду я! Возвратить человеку индивидуальность, порвать систему, прекратить затянувшийся период потребления. Необходимо начать новую эпоху в истории мира, настало другое время – новое создание! Эпоха главенствующей личности, саморазвития и саморазрушения, правового созидания, ко-

гда человек стоит над своими обстоятельствами, а не они над ним. – Его кто-то попытался перебить, а он уже почти стоял на стуле и кричал: – Что вы мне хотите сказать? Нечего вам мне возразить по-настоящему! Нечего! На нашем веку даже справедливость во многом лишена человечности – безусловно, она всегда оправдана и честна, но никакого снисхождения, понимания, прощения – только это безудержное желание мстить, воздать по заслугам, наказать! Вы не думаете о других! Никогда не думаете! И не смейте мне отвечать: «А зачем о них думать? Они же обо мне не думают?». Все так и перекладывают друг на друга ответственность, вину, веру! Все! И ваш эгоизм, самонадеянное чувство правоты – никто и не ставит себя на чужое место! Вы такие! Но теперь у меня остается только два вопроса, на которые мне действительно требуется ответ... Что вы делаете с собой? И почему, почему ваши души очерствляются, сердца тупеют, а из-под вашей зрелой духовности разит страхами?

Женя так много кричал: за то время, что он орал, он вставал на стул, в порывах гнева, когда кто-то издалека усердно пытался его перебить и осмеять, поднимался на стол и почти кидался на мужичков, которые сидели возле него. И все надменно на всех нас смотрел – на всех без разбора, его орлиный, вызывающий взгляд окидывал даже меня!словно загнанный в угол заяц, окруженный сотней злых шакалов, он бил ногами по полу, стулу и столу и был похож на маленького страшно испуганного ребенка, кричащего на все, что

ему попадается, и огрызающегося на всех, кто ему что-нибудь говорит. Мне казалось, он не понимал ни единого слова из той неисчисляемой массы, которой ему пытались возражать. Ему говорили слово – а он слышал лишь звук, как собака, не различая ни его природы, ни подлинного смысла. И даже когда его уводили вон с веранды, скрученного под руки, он брыкался, пинался и без конца вытягивался обратно к застолью; я помню, как он кричал:

– И знаете что? Знаете что?! Какие бы доводы я вам ни приводил, какими бы беспрекословными истинами ни доказывал, как бы метко я ни бил, вы все равно будете считать меня невоспитанным дураком с причудами! Вы не слушаете! Я только пытаюсь вам что-то растолковать – вы уже перебиваете! Не слушая, вы продолжаете перебивать! Понимаете? Вы всегда будете слышать только то, что хотите! То, что хотите слышать!

Когда его увели, легче не стало. Минувший скандал въелся в людей и бил в головах режущим, назойливым, как жук, сгустком. Это не давало покоя, и все сидели злые, заведенные, с красными хмурыми лицами и стреляющими темными глазами. На всей веранде протянулась не нить – целая веревка напряжения; испетлявшая всех вокруг и обогнувшая стол не один раз, она крепко держала всех в возбуждении и гневe. Нормально досидеть не вышло: многие родители ели молча и были готовы взорваться каждую минуту, им был нужен только маленький повод – незаметное, ничего

не стоящее слово, – чтобы продолжить дикую ругань. Я не стал задерживаться в той компании и вместе со сверстниками поспешил убраться с веранды. Еще ненадолго я остался на ее широких дубовых ступеньках, чтобы допить свое пиво, и мне пришлось убедиться в том, что взрослые, разозленные и подтравленные, начнут жестокий скандал. Кто-то там, наверху, закричал, и что-то разбилось со страшным, пронзившим воздух грохотом, но я не слушал. Почему-то меня охватили странные мысли, и... Конечно, это все сумасбродные, невнятные, грубые крики Жени... И все-таки это так странно: ведь я никогда не рассказывал родным всего того, что случалось на самом деле, и это правда, что если им что-нибудь такое в голову вобьется, то уже не выбьется ничем, и слышать они будут так, как думают. Я вот так вижу: люди живут бестолково, что-то обрезают и точат нас, обрабатывая, как кусок сырья, равняют, сглаживают острые углы – отупляют, выпиливают форму, аккуратную и удобную. Зачем? Кому это надо? Кому-то и надо, тому, кто это придумал. Но этим занимаются не эти люди: отцы и матери только равняют нас под себя. Наша история – исходы наших решений, тысячи передрыг, без конца выпадающих на нашей дороге. Это они заставляют нас выбирать... И вот что: если мы выбираем из предложенного, то где же здесь что-нибудь по-настоящему наше?

Последние два года мне нравилась одна девочка. Я ее сильно любил и многое для нее делал – больше, чем кто-ли-

бо другой: вместо совета помогал делом, подставлял плечо, когда надо было, и слушал ее; я всегда был близко, всегда тут, всегда рядом... Все это время мое настроение зависело исключительно от нее и наших встреч. Это до жути опасно, да, а вот сейчас... Не то чтобы это чувство пропало, и все же было что-то не так – не так, как прежде, я о ней думал: уже не с тем трепетом и надеждой, как о светлом лучике, а как-то иначе, через призму бесчисленных масс, миллионного общества с реальными людьми, которые действительно были и могли быть и с нею, и со мной вместо нас самих. Сейчас я словно смотрел на все выше и откуда-то подальше и мир мне виделся полнее, шире, объемнее. Я подумал о том, что однажды в ее жизни может появиться интересный или странный, непонятный пока человек, и с ним она будет видеть все свое настоящее и будущее, и пусть сейчас они даже не знают друг о друге, и где-то живут оба отдельно, ничего не подозревая, в жестоком и кромешном неведении предстоящей истории. Я представил, как она лежит с непонятным мужчиной на диване, а вместе с ними какие-то дети; она ласкает их всех, гладит, любит и говорит им обо мне с обычным энтузиазмом рассказчика, но так безразлично и скучно, вместе с мыслями о давно ушедшем, невозвратном прошлом, упоминает меня так, как будто говорит о герое из старой полузабытой легенды, то ли бывшей и вправду, то ли вовсе выдуманной. И вот как выходит: если меня не будет рядом, рядом будет кто-то другой. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый

– ведь все это так глупо, бессмысленно и пусто. Безусловно, и... Все равно она поменяется и больше не будет похожа на ту себя, которую так хорошо узнал за эти два года я. Она поменяется, и это будет уже совершенно чужая мне девушка, как будто бы и незнакомая вовсе, а мне почему-то все равно. Раньше ее влюбленности выливались для меня в жгущие грудь лихорадки, я болел и страшно мучился, а вот теперь я так спокойно думал о том, как бы прошла наша последняя встреча или как мы бы встретились через несколько лет – похоже на край идиотизма? Не понимаю, как до этого дошло за одно мгновение, мне словно сердце вырвали – мое сердце, которое два года отчаянно и глубоко любило, – и вставили другое, пустое и свободное от чувств, жестокое. Но честно! Я не помешан и не пьян – я разочарован в том, что мне пришло в голову. Мысли бьют неисчерпаемым родником, и они бегут быстро, быстрее, чем я их осознаю. Я не успеваю подумать о том, о чем думаю! Их поток льется, струится, летит в мой мозг, каждая мысль, идея, приходящая быстро и неожиданно, одномоментно исчезает из головы, полностью и тут же сменяется новой. Откуда берутся? И зачем появляются, если тут же исчезают, не оставив в памяти и следа о себе?

В то время, когда я пылливо прорезался к смыслу своих мыслей, отыскивал их природу и питающий корень, ко мне подошла мама. Наверняка она спустилась с веранды, ведь где бы ей еще быть? Она тронула меня за плечо, и я оторвался и наконец услышал, как там, наверху, до сих пор кричали,

матерились, визжали и что-то продолжало с пронзительным треском разбиваться. Она села рядом со мной и положила свою белую тонкую руку мне на спину. Я чувствовал, что ее глаза были устремлены вдаль, как и мои, на изогнутую исчерно-багровую линию горизонта, и мне казалось, словно смотрели мы даже в одну и ту же точку.

– Вот так: не успели и оглянуться, – тихо, приглушенно проговорила мама, поглаживая мои плечи.

– Может быть, – отвлеченно бросил я.

Мы сидели и молчали – никто из нас не решался говорить. Мама ждала, пока начну я, а я... Я не мог придумать и одного слова, потому что по отношению к родителям сентиментальностей не терпел и противился им уже, честно, лет шесть. Очень робко, осторожно я опустил взгляд на плечо, где лежала ладонь матери, и ужаснулся ее виду: гладкая, помолодому мягкая и насыщенная цветом кожа, какая она была всегда, на ней точно исчезла, и вместо нее теперь кисть и фаланги стягивала погрубевшая, резиновая кожа, бесцветная и в бледных пятнах, почти прозрачная. Я схватил эту ладонь в обе руки и посмотрел на маму.

– Что это, мама? Такая твердая, смятая рука у тебя, что с тобой? – спросил я и стал аккуратно щупать ее кожу. – Ты болеешь?

– Что? – она рассмеялась и взглянула на меня своими смешными влажными глазами. – Что такое? Мать-то твоя совсем старушка, да?

– Нет-нет-нет, ты что? Нет, я же помню, еще недавно она была такая нежная и свежая, как подушечка, еще недавно, я же помню, еще недавно...

– С поры твоего недавно прошло уже, не знаю, лет двенадцать, наверное. – Все, что она говорила, произносилось с печальным смехом, с такой особенной ноткой грусти, проskalьзывающей параллельно с голосом. – Я вела тебя в садик, и я собирала тебя в школу в первых классах, я была молодая... Но подумать только – в то время мне еще не стукнуло и тридцати, а сейчас мне без трех лет сорок пять... Скоро-скоро ты мать свою и не узнаешь, Илюша, старушкой я стала! – и она снова рассмеялась. А я смотрел на ее грубую бледную кожу, какую помню только у своей бабушки, и не мог понять: ну как? Где моя молодая красивая мама, которая вела меня в садик и забирала оттуда? И где ее ласковый округлый голос, зовущий, ждущий дома? Теперь в нем прорезается легкая хрипота – прожитые годы, и вот... Ну как?

– Неправда все это! – и я обнял ее, обнял так крепко и надежно, как мог только лет десять назад: прилип, прижался и долго не отпускал. И это было приятно.

Затем спустился и отец. Он был крепким мужиком, высоким и широким. Размеренным медленным шагом он спускался по большим ступеням, на которых сидели мы с мамой, и потирал рукой лоб, отчего его длинные смоляные волосы припадали то на правую сторону, то на левую. Когда отец наконец оказался на земле, он постоял, кинув взгляд куда-то

далеко за пределы горизонта, как будто смотрел в никуда. И вдруг он язвительно, пытаясь сдерживать что-то бешеное и злое в сдавленном горле, произнес, обращаясь ко мне:

– Вот дураки!

Отец стоял поодаль от нас, в нескольких метрах, но потом подошел ближе.

– Я не вру, я ведь не вру? Они сказали: «Вы очень много бестолково говорите – это в ущерб настоящим мыслям». Алина, я же не соврал?

– Наверное, так и было, Олежа, – ответила ему мама.

– Что ты хочешь? – перебил я.

– А ничего. – Отец смял эту фразу, как бы пригмыкнув, и несколько секунд сверлил меня заискивающим, бросавшимся взглядом. – Что ты смотришь? Псом на меня уставился, как шакал!

В два шага он подобрался ближе и встал прямо передо мной.

– Вы что, все такие? – его голос дрожаще проиграл пластиной и был готов взвизгнуть, как закипевший чайник.

– Какие? – я встал со ступени и пошел к невысоким елкам. Они служили украшением для террасы и, голубые и пышные, при свете солнца, днем, смотрелись приятно и органично. Сейчас же, когда стемнело и тени стремительно кутали все крошечным мрачным полотном, они стояли черным неразличимым забором под блестящим озером и были страшные и мутные.

– Много думаете и мало говорите, – подтрунил отец.

– Что? – я обернулся в тот момент и почему-то чувствовал во всем своем теле возбуждение и готовность отвечать язвительно и с насмешкой.

– Мы с матерью теперь больше прежнего убеждены в том, что тебе стоило бы учиться в нашем городе. С нами будет понадежнее – я посмотрелся на этих ваших. Преумные люди, мне нечего сказать!

– Что не так, пап?

– Неопытные еще, уважения еще не знаете, с людьми не жили, а люди бывают разные. Так и жалею того парня: ведь он действительно думает, что прав.

– А в чем он не прав?

– Безответственные, сами эгоистичные...

– Нет, – тогда я чуть дальше от него отошел, чтобы можно было раскинуться словами, находясь в безопасности. – Что значит эгоисты? Это называется смелость! Мы всего-навсего позволяем себе то, чего так боятся остальные.

– Прекрасно мне помнится, как ты прогуливал уроки по желанию. Разделил предметы на важные и не очень – вот это ты молодец!

– И в чем я не прав? Что мне нужнее в апреле: русский с математикой или физкультура? Или, может быть, история? Или обществознание? Я же с ними поступаю, кстати. Думаю, с двойкой по физкультуре, но высокими баллами за экзамен меня не возьмут. Так и вышвырнут прямо с порога: двойка

у тебя по физкультуре! Как ты смог сюда заявиться с документами? Как ты живешь? Да, прямо так и вижу.

– Ты не ерничай! Если ты делишь предметы на важные и неважные, то ты делишь и преподавателей на важных и неважных. Притом учитель математики может быть скверным учителем математики, а учитель физкультуры может быть замечательным человеком. Кроме того, тебе вот важна математика и экзамены – так? – а учителям физкультуры или истории важно, чтобы посещали их уроки, ведь они готовились к ним, чтобы что-то рассказать. А администрации заведения важно, чтобы в принципе уроки посещались, потому что это важно, это держит уровень школы, ведь ученики – ее лицо. А вы этого не видите, вы выросли и обрели силу и пробуете ее, гребете мир под себя, как ковер, даже не думая о тех, кого таким образом загребаете и опрокидываете. А опрокидываете многих! Мир огромный и тесный, иерархичный – все подчинено. Разом ничего не разобьешь – последствий людских много выходит, и лучше быть таким рабом, как все прочие, бездеятельным и скучным, как сказал тот парень, чем тем кровавым господом, который свергнет такой уклад. Жизнь слишком сложная, все в ней сплетено да скручено, и, наверное, ничто в ней никогда не станет понятным до конца, а вы думаете, что прониклись всем уже сейчас!

– Нет, отец, все исправляется. Мне ничто не мешает быть ответственным...

– Вот и дело-то...

– Я знаю, что мне нужно, я готов, я знаю, что делать! Какая разница, отец? Никто не смотрит на результат, ведь и вам от меня нужны только итоги работы, а не сама по себе работа? И нечего никому по этому поводу волноваться вообще! Я сам знаю, что я должен сделать и для чего, и я сделаю это, потому что этого я хочу.

– Я, я, я – ты это все убери! Говоришь «я» и никого не слушаешь. А ты кто такой?

– А я право имею!

Похоже, что отец в тот момент опешил – я его не мог разглядеть в темноте достаточно хорошо, – потому что продолжила уже мама:

– Сынок, все люди живут. Нельзя давить остальных только потому, что тебе хватает смелости и силы, а им ее недостает. Послушай отца, – ее мелодичный мягкий голос точно крался ко мне, и сквозь тонкую хриплую струнку я чувствовал в нем привычные ласку и доброту.

– Нет, мам, угодать я никому не собираюсь. Угодать – это так малодушно...

– Лучше с человеком конфликтовать, чем пойти ему навстречу, – прорезался вновь тяжелый, пережатый бешенством голос отца, – ты все слышала, Алина!

– Отец, подожди! По какой милости я должен сглаживать чужую проблему? Если кто-то виноват – виноват не я... То есть если я прав, то почему я должен прощать наглые выход-

ки этим глупцам? Пусть извиняются! Их слабоумие – явно не моя проблема.

– Ты уперт, Илья! – после этих слов мы с отцом еще какое-то время ругались, прячась друг от друга в темноте, и исходили всю лужайку между верандой и мрачными елками – и я уверен, что мы вытоптали на черной траве целые тропы своей бесконечной тупой ходьбой, – а мама сидела на ступеньках, что-то добавляла, помогая то мне, то отцу, и покрикивала на нас обоих, но несильно: в конце концов это была наша не самая жестокая схватка с родителями. Чаще отец оказывался у елок – того нераздельного разбухшего забора, росшего прямо из земли большим жутким силуэтом, – и ходил вдоль их полосы взад и вперед, пока я все дальше и дальше отходил в сторону берега, к самому краю лужайки. Он снова начал читать мне нравоучения, наставления, нотации, давать советы и рассказывать какие-то истории, которые с ним случались, и все говорил, по обыкновению много, долго и со сдержанным бешенством в горле – клянусь, я слышал, как все его слова дрожали, как подергивался его голос и непроизвольно игрался во рту странный, чересчур подвижный язык. Только потом, спустя еще некоторое время после того, как прекратился наш спор, мне показалось все это очень глупым и несуразным – началось все с бесформенного наезда, а кончилось безобразным конфликтом философий. И вообще то, как мы спорили, что высказывали, чем аргументировали – все безобразно и бессмысленно. Мои идеи

стали казаться мне тусклыми, безжизненными и унизительно бестолковыми, да и зачем их нужно было знать родителям? Они же им никогда не станут ясны и близки, так разве есть смысл рассказывать им то, что они и не захотят слышать? То, что они не могут понять? Не знаю, вероятно, мне просто хотелось заявиться, выкрикнуть что-то свое – именно свое и от себя крикнуть, дескать, я есть, я тут, я с вами! Быть может, оттого я и ругался? Это единственное объяснение, которое я смог дать, потому что слова сами срывались с моих губ, и иногда мне даже думалось, что я ими и не владею, а мыслятся они сами по себе и существуют отдельно от меня.

За то время отец мне успел разъяснить, что значит быть ответственным, что значит быть мужчиной и – что важнее всего – как человеком жить на планете. Он говорил, что каждому надо отплачивать его же монетой, что попросту людей обижать нельзя, а всегда надо думать:

– Это только дураки ни о чем не думают да направо-налево орут – так он говорил, – а в этом весь человеческий ум-то и проявляется. Видишь, Илья, вежливость и воспитанность – это не значит, что ничего дурного не вытворят, потому что знаешь, что нельзя; это значит не желать ничего дурного делать изнутри, искренно и изнутри!

К этому отец свел мою непокорность и назвал меня бесовестным человеком. Впрочем, я этого не понял: ну почему? Пара проступков – и я уже последняя скотина, в то вре-

мя как за моей спиной на самом деле стоит превышающее многократно число добродетелей! К чему он приплел к этому меня и как вообще ему это удалось и зачем – я так и не смог ничего уразуметь. Но отец еще много говорил, и самым важным из всего, как мне кажется, была такая идея: если ты не хватаешь жизнь, жизнь хватает тебя.

– И лучше бы всегда действовать первым, чем потом оказываться в жутком потоке приключений косвенно, безжалостно заброшенным туда, как мертвый лист, унесенный по бегущему ручью в канаву, – так он заключил, и под этим предложением рухнули все философии, говорящие о том, как прекрасно и легко плыть по течению. С этим мне вынужденно пришлось согласиться: в конце-то концов, по течению плывет мертвая рыба.

На том все и кончилось. Это было безобразно. Я так язвил! Совершенно неуместными предложениями, какими-то обрывками гордых мыслей; я бросался красными словами на отца ни за что, совсем не отвечая на его вопросы и его идеи. Наверное, со стороны я выглядел помешанным, а наш спор походил на разговоры по телефонам двух просто стоящих рядом людей, потому что это не было похоже и на спор – мы как будто бы и не слышали друг друга! Но вот все и разрешилось. Скажу, я остался доволен – на самом деле доволен, потому что отец с матерью открыли мне новый материал, над которым предстояло еще много размышлять, но который – и я уже это понял – был полон мудрых идей и пра-

вильных мыслей. В чем-то я с ними не согласился, а в чем-то стал абсолютным единомышленником. И это было хорошо, я так считаю, ведь теперь я и преумножил свое видение, и сумел остаться при своих прежних взглядах. Да, вышло вполне неплохо. Но больше спорить мне не хотелось, и я не стал сердить отца более: я с ним согласился в последних его предложениях, и он тем успокоился. Мы вернулись к ступеням веранды: я – с конца лужайки, а он – от черных елок. Здесь мы и обнялись с родителями еще раз: сначала я обнял маму, затем отца и вновь почувствовал приятное, гладкое чувство во всем своем теле – это и правда было странно, ведь я уже очень давно этому противился...

– Извини, папа, – сказал я, отпуская его, и не понял, за что извиняюсь.

– Все хорошо, Илья, – ответил мне он твердым, обычным своим голосом, в котором теперь я не слышал ни дрожи, ни бешенства.

Тогда мы с родителями и расстались. Наверное, они собирались вернуться на веранду, потому что уже подходили к ее широким дубовым ступеням. В тот момент оттуда, сверху, уже не раздавалось ни воплей, ни бешеных криков, ни стеклянного треска; но только из широких панорамных окон, вырываясь сквозь большие колеблющиеся шторы, на улицу лился приглушенный, точно сдавленный и придушенный ружейный гул – в нем выплывали с веранды и всхлипы испуганных женщин, и покойные матерки от уставших мужчин, и шорох

ватных дисков, впитывающих с лиц текущую кровь, – это гудело, плавно отступая по воздуху, утихавшее, усмиренное безумие. Те люди наверху просто обожали такие боины – да и не только те, что были наверху, – и я за это их всех не любил. Все существа противны, когда страшно дерутся, но вот люди уж совсем омерзительны: они так беспамятно кидаются друг на друга, с таким немислимым усердием колотятся, издирая кожу до крови, точно бьют не по другим таким же людям, а по бесчувственному полену. Жестокая драка, давившая под собой так много звуков, разогнавшаяся до предела громкости и шума, исступленная и страшная, теперь действительно умолкла, оставив после себя глухо шелестеть волнистое эхо. Я не заметил из-за спора, когда точно прекратилась драка, и не знал этого, но зато я точно был уверен в том, что она была бессмысленно безумная и страшная, так как даже утихшая все равно звенела в людях громко и раскатисто, и никак не отпускала, и не отдавала их на мир. И я подумал, что последствия ее забудутся еще очень нескоро, если вообще забудутся когда-нибудь, и... Но я не хочу об этом. Нет, не хочу.

Когда родители стали подниматься по ступеням веранды, я развернулся и пошел в обратную сторону. Я пересек лужайку и направился вниз по крутому склону – там, под растаявшей и побежавшей к земле кроной молодой ивы, у яркого костра собралась кучка наших ребят. Идти туда мне пришлось долго и неудобно – по крутому склону и скользкой, растущей полосками длинной траве, и я хромал, когда одной

своей ногой заступал далеко вперед, пока вторая оставалась на месте. Горизонт уже не светился красным огнем – он потух совсем; теперь мрак лег на землю окончательно, накиннув даже на сам воздух черную непроглядную мантию, так что нельзя было адекватно оценить расстояние до чего-нибудь – все стало темным и узким; небо, заплывшее серыми, кучными тучами, не блестело звездами. И я шел вниз по склону, переставляя с трудом уставшие ноги, на маленькое желтое пламя, не разбирая ни той дороги, что была передо мной, ни того, что лежало прямо под моими ногами, по скользкой, растущей полосами длинной траве, и где-то дальше и выше на этой темной пустой стене, как прибитая картина, серебрилось плоское и большое блюдо озера...

Глава третья

Ночная тьма поглотила все – землю, деревья, даже сам воздух, они просто прекратили существовать, как если бы в комнате выключили свет; казалось, я тоже растворился в этой угольной черноте и перестал быть – меня никогда и не было, а было только это полотно, которое рухнуло на планету копченым одеялом и теперь было всем. И мне казалось, что я и был этим непроглядным полотном, словно я был сейчас нигде и никогда и одновременно везде и всегда, в каждой частице этой темноты, и смотрел отовсюду; и ступал я точно не по твердому, а плыл по пространству, которого теперь не было, с ветром, которым сам и был. Мне не принадлежал лишь этот горящий желтый огонь – ярчайшая и тяжелая точка вдалеке, тяжестью своей продавливающая густое полотно, она стягивала его, выворачивала, как мокрую тряпку, собирала, как порванную паутину, образуя скручивающийся туннель из темноты; смятая воронка, и только она еще держала меня в сознании, не давая спутаться и утонуть в этой крошечной тьме. Где-то чуть выше на темной стене туннеля, быть может, у самого потолка прибитой картиной сверкало бледное плоское блюдо – оно было совсем не похоже на озеро: слишком оно выдавалось из туннеля, точно парило в пустоте свободным диском, точно оно сверкало рядом, прямо тут, у лица, и было слишком объемное и близкое, что-

бы быть действительно озером – темнота исказила его, и эта кривая, вывернутая и сплюснутая серо-белая поблескивающая лужа сводила мне глаза гладкой судорогой.

Желтое пламя росло, и я уже отчетливо видел головы, спрятанные за его искрящимся туловищем, когда наткнулся на два невидимых силуэта.

– Полегче, – сказал мне один из них, тот, на которого я в слепоте наступил: этот живенький, бодрый голос принадлежал Владу Мошкину.

Я задумал что-нибудь ему сказать, но не успел – меня перебил другой голос, исходящий откуда-то напротив. Он раздался с такой язвой и бешенством, этот беглый наглый голос, что я в первое же мгновение узнал его владельца – вторым силуэтом был Женя, и он почти кричал, разъяренный еще больше, чем прежде.

– Так удобно, так неудобно – как хотите! Они подстраивают! Подстраивают все под себя, под свою выгоду, в свою пользу вертят словами, как жонглеры шариками, и так они это безнаказанно творят: им все не то что с рук сходит, оно им на руки даже не попадает! Без-на-ка-занность! Мы говорим только то, что нам удобно! Никого не хотим слушать и сами ни с кем не разговариваем. Но и так: зачем разговаривать с людьми о том, чего они не хотят слышать?

Мы молчали. Мы просто слушали, как он кричал, и стояли, а он продолжал, совсем пьяный и расстроенный, и оттого кричал еще громче, как будто бы от громкости всего того,

что он скажет, зависело наше понимание.

– Абсолютная демократия и гуманность, – и он развел руками – я не видел, но я чувствовал, как воздух в темноте колыхался, и уверен, что он развел руками. – Спорить – вот что! Надо спорить! Разрушать каждую истину до основания, разбирать и собирать ее обратно, и только тогда она станет действительно истиной. А эти – они не понимают! Знают, но не делают! Знают, но не делают! Им лишь бы учить нас тому, что известно, отвергая все прочее, что можно еще пока только предположить. Одно лишнее слово, не отвечающее их видению, – и на этом все поехало! Они нас не слушают, Влад! Не слушают! Результат – вот все, что они судят, все, что им нужно, – это чтобы все было хорошо и гладко, без лишних рисков, вариантов и возникновений! Люди... Они же такие бездарные! Я хочу сказать, преобладающее большинство – они ведь совершенно бесполезны и бестолковы! Вы открыли интернет? Миллионы бездарных комментариев от миллионов бездарных людей! Они же такие глупые! Такие глупые! Не пойми что пишут там, в своих аккаунтах, да и говорят то же самое, точно их мнение важнее остальных, но кто вы? Кто вы такие, чтобы иметь свое мнение! Девятьсот девяносто девять тысяч ничтожеств, ничего в жизнь не принесших и только потребляющих, подчиненных, не способных на свершение великих дел! Все, что они делают, – воплощение чужого под чужим контролем, ничего своего! И притом – притом! – эти бездари умудряются упрекать действитель-

но достойных людей за их мнение! Вот этого я понять не могу. Зато сколько мусора... Мусор! Мусор! Мусор!.. Человеческие собаки, доедающие за настоящими людьми! Как они любят всему примитивному и давно известному давать свою трактовку! Дескать, посмотрите на меня: я умный философ! Я мудрый мыслитель!.. – он провонил это, – да только были бы это настоящие идеи и мысли, а так... Только чтобы потом подобные им восклицали, восхищенно и торжественно: «Сильные слова», как будто бы это действительно важно! Но самое отвратное, что они зачастую не следуют своим же мудростям, точно произнося и выписывая их в статусы, просто для того чтобы было! Как много примитивного и глупого! И почему их жизни вообще имеют ценность? Почему они живут и несут в себе какую-то важность? Они же бессмысленны...

В тот момент из тьмы выступили еще пара силуэтов, которых я не мог разглядеть никак. Они не стали с нами разговаривать, а я не успел обратить на них внимания: они всего лишь взяли за Женю и потащили его назад, в черную мглу.

– Но есть люди! Все изменится! Есть еще те, кто имеет право! Есть, ты веришь мне?! Они все просто ходячие проблемы... Примитивные, неталантливые, бестолковые... Но будут люди!.. Всегда были и будут такие единицы, двигающие время и всю человеческую массу вперед! Мы исправим мир! – продолжал он кричать, исчезая где-то там, за крошечной черной пеленой, и голос его был звонкий, вялый и шат-

кий от спирта, но полный силы, решительности и вызова. И гордо он кричал.

– М-да, – протянул Влад, устало и изнуренно бросив scom-канные слова в темноту. Он как будто был опечален: его нечеткий серенький силуэт глядел на меня щупло, и с обвисших плеч куда-то в мою сторону было повернуто его лицо – я его не видел, но я чувствовал в нем что-то грустное, я чувствовал тоскливые глаза, которым в темноте некуда было посмотреть...

– Что? – спросил я, только начиная приходить в себя. Тьма меня существенно дезориентировала, и реальность я сейчас принимать не мог за что-то большее, чем сон, потому что, как и во сне, я слышал слова странными и шедшими ко мне отовсюду, а тела своего как будто бы не имел.

– Он... просто считает, что людей можно делить, и он правда их делит на умных и гениальных – самых достойных людей, которых, по его мнению, порядка всего трех-четыре процентов всей массы, и на тех, кто не туп и по крайней мере не бесполезен, которых порядка еще десяти-двенадцати процентов основного человечества, и еще на таких, которые не двигают землю никуда, а просто существуют и, мало того, наносят планете и нормальным – это его слово! – людям только вред, и их от восьмидесяти процентов, а это, опять же, его позиция.

– И что ты думаешь?

– А я вот думаю... Если у человека есть мама, есть папа,

есть жена и дети, так что это – он бессмысленный? Что, его можно раздавить, если он не привнес в мир какой-нибудь вклад? Его же кто-то где-то любит, этого человека, пусть даже бездарного, бестолкового, ну тупого, безрукого, злого, бессовестного, бесчестного, нехорошего человека – его тоже где-то кто-то любит! Человек превыше всего должен быть... – и голос его растаял. Он только что был со мной, стоял подле меня, и я видел его очертания прямо перед собой, но мгновенно, с непонятной вспышкой темных воздушных сгустков, очернивших мрак в моих глазах еще сильнее, он пропал, точно провалился куда-то; но куда? Куда можно пропасть из тьмы, если дальше некуда? В этой мятой воронке, сделавшей мир похожим на небытие, уже все исчезло.

Я испугался – испугался неожиданно наступившей тишины, упавшей с оглушающим звоном на мои уши, и не стал всматриваться ни в стороны, ни назад: даже если Влад и был где-то там, он был охвачен глубоким и гниющим разочарованием и не хотел сейчас ни с кем говорить. Нет, я не был ему особенно близким другом, но зато знал, что в определенных случаях самое нужное, что можно сделать для человека, – это дать ему побыть в одиночестве.

Тогда желтое пламя, унесенное черными стенами мрака в самый конец туннеля, такое далекое, крохотное и прозрачное, как кристаллик, вновь блеснуло в мои глаза, и я пошел дальше, словно и не было этой остановки. По мере моего приближения пламя росло и набирало форму, словно

в маленькую тяжелую точку возвратилась материя, придав ей объем и одновременно высвободив сжатое тьмой тепло и цвет: уже отчетливо вертелись в пустоте красные искры, одичало выбегая из толстых рыжих языков, и перед прозрачным, большим и явным костром отступала черная ткань. Сначала туннель сузился и укоротился, а затем угольные, крошечные стены рухнули, буквально растаяли от крупницы призрачного далекого света огня, поредели и рассеялись. Теперь весь мрак отступил и сгустился у озера и на скользком склоне, он побледнел, как будто на закоптелом окне отскоблили и протерли стекло, и стал похож на театральный занавес вокруг полутемной, кривой и уродливой сцены.

И вот я совсем подошел к костру. И странно: как только я разглядел людей, сидевших позади него, которые что-то говорили и живо-вяло смеялись, подбитые алкоголем, как только я разглядел на белых ровных телах лица – острые, несимметричные настоящие лица, – меня как-то неожиданно резко и ненормально охватила судорожная ненависть. В мозгу затлел горящий уголек, нечто вцепилось мне в горло, сковав грудь, и заставило оскаленными дрожащими зубами и бесноватым языком накинуться на них как на злейших врагов или пьяниц:

– Хорошо сидите вы, ребята! Хорошо, гады! – кричал я на них; где-то у костра, на пустом песке – выжженном кружочке, окруженном травой, – валялась жестяная сдавленная банка из-под пива, и я со всей силы пнул ее, отправив ку-

да-то за кусты ивы, где ее поглотила черная стена. – Шлак!

И я умолк: теперь я в жгучем нетерпении ждал их реакции, и хотелось мне получить именно бурную, пламенную отдачу в свою сторону за такие дерзкие, оскорбительные и нахальные слова, чтобы продолжить кричать, пинать землю, кидаться на всех с язвой – быть может, даже подрасться. Отчего это вдруг вырвалось? Вот только никто из тех, кто там сидел, у костра, не стал со мной вступать в перепалку: их глаза были обращены ко мне чуть-чуть безразлично, но в них мелькала хрустальная, прозрачная печаль: как будто они меня понимали и, более того, понимали не только мои слова, но и меня самого. Это меня смутило, мои ноги сковались, и я встал растерянный, закрывая и сминая тело за ломанными руками, приложенными к груди. Несколько человек оттуда ушли – ну и пусть бы, кому они нужны? Доходяги! А еще какие-то парни нырнули в карманы и стали что-то оживленно в них искать. Они сидели на середине скамейки, напротив самого пламени, и один из них был небритый, небрежно постриженный и с большим лицом – такой косматый человек, а другой, наоборот, имел аккуратный вид, короткую прическу и гладкое остроугольное лицо.

– Куришь? – спросили они меня, когда наконец достали из карманов ярко-зеленую длинную зажигалку и красную бумажную пачку. – Ну ты покури.

И они мне передали пухленькую, крупную папиросу в коричневой оберточной бумаге. Тогда, зажав ее в зубах, я

опытно и изысканно поджег край с табаком и, чтобы раскурить его, пару раз сразу дунул. Желто-рыжий пепел стал красиво тлеть на том конце, медленно сжирая папиросу, набитую растением, и выжигал каждую сухую крошку в ней. Синеватый дым полился из нее и с моих губ вращающейся струей, ломанными полосами убегавшей в черное, невидимое – точно и несуществующее – небо. Я не часто курил, но и сказать, что я вообще не курил, тоже нельзя. Я позволял себе из месяца в месяц с течением времени, с каким-то даже графиком скуривать некоторое количество сигарет. Это курение, кто бы что ни говорил, незаменимое занятие – оно здорово помогает думать. Когда еще можно найти свободную, отстраненную от всего минутку-другую, что позволила бы просто спокойно поразмышлять? Столько философии отыскивается при курении! Многим и не понять, но как много мы придумали в такие минуты – важно лишь правильно этим пользоваться и курить, чтобы жить, а не умирать.

Затем я отдал парням их зажигалку и пачку, они закурили вместе со мной. Вертлявые, без конца разрывающиеся и волнующиеся, как море, облака рассеивались плавно и долго задерживались у земли, не улетая наверх, и когда мы наконец покурили, парень – тот, что с остроугольным лицом, – встал, захватив стеклянную фигурную бутылку, и стал молча глядеть на всех – этот взгляд заставил меня и косматого также подняться и подойти поближе к костру. Там кто-то сбоку пихнул мне в руку такую же бутылку.

– Да пошли все на хер? – ожидая одобрений, остролицый развел в стороны руками и весело и довольно свел уголки своих рубиново-красных губ книзу.

Совсем не раздумывая, я сразу подхватил – и не я один:

– Пошли все на хер! – и мы стукнулись бутылками пива с этим восклицанием; к нам присоединилось еще несколько ребят из тех, что сидели на скамейке. Вместе небольшой, но все же неодинокой компанией мы гордо произнесли эти слова, и голоса наши слились – клянусь, почти даже без дряблого отзвука и вялого многочисленного эха – в единый звонкий гул. Он вышел такой продолговатый и четкий, разлетевшийся далеко по округе, прошуршавший в самом непроглядном мраке, что меня на какой-то миг смутило от такой громкой и явной торжественности. С нами не встал только один парень – Юст, мой хороший знакомый, не то чтобы друг, но ладил я с ним неплохо, по крайней мере в школе. Юст был поэтом. Он писал часто и много, среди его работ уже был не один большой сборник стихотворений, и сейчас он готовился выпустить несколько поэм и одну очень хорошую пьесу. Юст читал ее нам на литературе, еще необработанную, и, честно скажу, это талантливейший труд из всех его произведений. Он был высоким юношей с оформленным фигурным лицом, на котором ярко сверкали его круглые голубые глаза под большой кудрявой шапкой черных прядей, и именно из-за его смоляных волос, как-то отдаленно походивших на птичье гнездо, я и не заметил его у костра до того самого

момента, пока он нас не начал перебивать. Этот парень был очень добр ко всем без исключения, постоянно о чем-то грустил, витая где-то в облаках в поисках вдохновения.

Наша компания встала вокруг костра. К тому времени я уже докурил и откинул легким и красивым движением руки остаточный цилиндр от папиросы в самое пламя, где вата, которой он был набит, моментально сгорела. И мы еще долго кричали, обзывали мир подлым и мертво-скучным, а людей – тупыми, малодушными, с гнусным сознанием и крошечными мозгами.

Чуть позже мне в лицо дунул ветер – такой теплый, летний ветерок, он врезался и пробороздил мне губы, щеки и глаза, и, хотя я представил его в самом начале его дуновения мягким и приятным, поглаживающим нежно кожу, на самом же деле он оказался плотным, грубоватым и жестким – мою голову как будто умыли зернистой пылью или землей. И в то же мгновение из-за темных занавес мрака вышла Она – девочка, которую я бесконечно и всепоглощающе любил последние пару лет. Наверняка она пришла тем же путем, что и я, спустившись со склона, когда на веранде усмирились люди и на воздух, прогнав свистящие звуки драки и боя, лег тихий покой. Ее звали Соня, у нее были темные крученые волосы и фигурное смуглое личико, на котором красиво располагались овальные фиалковые глаза, аккуратный маленький нос и пунцового цвета губы, которые она всегда могла сложить в милейшую улыбку. И когда я ее разглядел, стоя еще у ко-

стра, мне вспомнились те мутные, зыбкие и топкие мысли – точно в моей голове дышала трясина, – которыми охватило меня на дубовых ступенях веранды. И я снова подумал о непонятном мужчине рядом с ней и о каких-то детях, которые держали ее за руку и любили ее.

– Отдыхаете? – спросила она, когда подошла к нашей компании и встала справа от меня.

Ребята как-то обычно отшутились, а Соня чуть-чуть улыбнулась им – быть может, только из приличия, но улыбалась недолго и кротко свела губы уже в следующее мгновение, как бы закончив пошлый, никому не нужный разговор. И после этого она осторожно прихватила меня за локоть:

– Иленька, пойдём погуляем? – пролился сквозь пунцовые сжатые губы ее нежный тонкий голос, точно фиолетовая лилия выронила с мягких лепестков капли хрустальной воды; такой приятный и ласковый был у нее голос. И притом, когда она говорила, ее губы почти не тронулись с места – только содрогнулись одновременно, словно она ими и не шевелила и только ветер их потряс.

Я сразу согласился, несколько не думая, спонтанно, и сам не знаю почему я поступил именно так – еще не успев окончательно понять этих слов, я уже ответил: «Да, пошли». Это было странно, очень странно, и глупо, и как будто бы совсем необдуманно, но я и сейчас не успел подумать – времени не осталось: от моего согласия и до того, как мы уже широким шагом уходили от костра, не мелькнуло ни мгновения. Соня

сразу взяла меня под руку и стала спешным шагом уводить нас к берегу, хотя его и не было видно за темной завесой, и мы просто пропали, поглощенные крошечной и загадочной темнотой.

Во мраке я снова потерял способность здраво соображать, я не помню, как долго мы шли до берега, по какой дороге и о чем я с Ней говорил все то время, но, надеюсь, это было не особенно важно. Когда мы отошли достаточно далеко от костра, оставив его где-то за ветками ивы, – так, что его пламя больше не сдавливало и не сгущало ночную тьму, – непроглядный мрак рассеялся, его угольно-черная материя, где я не ощущал ни пространства, ни времени, ни места, побледнела и стала редеть в красках: из ничего, из сгустков мрака стали вырастать очертания тел и предметов – даже трава отражала теперь темный свет, – и я видел, как она изрезала землю, и снова мог ощутить пространство, время и место. И еще чуть позже из сплошного пласта облаков, перегородивших глубокое необъятное небо, в какую-то дыру прорезалась бело-синяя острая луна и облила бережок мягким волшебным светом, точно мы попали в сказку; от ее синих воздушных лучей серебристо мерцали темно-зеленые ланцетные листья ивы, трава, окрашенная в нежно-голубой, белый песок и волнующаяся плоскость озера. Мы с Соней встали под большой плакучей ивой, чтобы ниспадающие, протянутые до самой земли ветвистые каскады скрыли нас за собой. Тогда Она подошла к стволу дерева и прильнула к нему

плечом, устремив взгляд фиалковых глаз вдаль по озеру, а я медленно и тихо зашагал к опущенным ветвям, отходя влево от нее.

– Илья... – произнесла Соня как-то по-особенному ласково; мне всегда нравилось, когда она меня звала по имени.

– Да? – ответил я и приблизился к ней. Она обернулась ко мне и взяла за руку. Глаза ее смотрели прямо на меня и, ломанные и грустные, дрожали прозрачными хрусталиками. В тот же миг – ни мгновением позже – я услышал вновь ее нежный, как лилия, голос:

– Я люблю тебя, – и Она встала ровно, пронзая меня взглядом, а слова ее, пролившиеся чистым мягким голосом, сказанные именно с теми трепетом и лаской, с какими, искренние, они всегда и звучат, – застыли в воздухе.

Теперь же, спустя некоторое время, я все еще думаю над ними и тем, что случилось потом. Нет, я не опешил и не испугался, что было бы свойственно такому моменту, – вместо этого я разочаровался, правда разочаровался, совсем без восторга восприняв Сонино признание. Может быть, если бы она сказала все это раньше хотя бы на пару месяцев, я бы растрогался и, вероятно, даже расплакался от счастья и переполнившей меня радости, но сейчас... Я стал отталкиваться от нее еще в конце зимы, чтобы медленно отходить от этой дурацкой зависимости, когда от ее настроения и наших нечестных встреч я находился в полном подчинении. Я так долго ее любил... Так долго! Безответно и абсолютно, что уже

устал и, вопреки своему же нраву, решил отказаться от больших, мешающих чувств. И вот теперь, спустя как раз то время, которое мне и потребовалось, чтобы оторваться от связи с Ней, она мне признается! Это просто цирк: раньше я ей был не нужен, а сейчас, когда она меня полюбила, уже я перестал в ней нуждаться. Это просто цирк! И отчего мы получаем то, чего так хотим, только тогда, когда уже оно нам не нужно? Что за правило? Хотел бы я дать по морде его создателю, если бы он только был человеком!

– Прости, – я ответил ей кротко и твердо, а сам вдруг дрогнул от натянувшейся в груди струнки: эта струнка пошла выше и схватила меня за горло, зажав мне легкие и трахею, – последний слог произнесенного мною слова выдавился, как мышинный писк, и я не сдержался и вырвал со скованного языка еще раз: – Прости...

И память о нашем добром ласковом общении заставила меня ее обнять, прижать к себе и извиняться – долго извиняться, пока я точно не понял, что ей легче. Как же я был разочарован! Выходило, что мы любили друг друга, но любили в разное время, и мы не сможем быть вместе. Но я не мог жалеть ее – я жалел только любовь и счастье, которые обошли нас временем и стороной. Это ужасно, это жестоко, быть может, даже мерзко, но это правда: я не мог ее жалеть. Даже там, успокаивая ее под деревом, я жалел ее чувства и ту счастливую жизнь, которой быть уже не могло. Я ненавижу себя за эти воспоминания – какие они равнодушные и

обычные! Они просто пропитаны безразличием, как будто бы я отдаленно припоминаю чью-то чужую историю, о которой знаю только как посторонний наблюдатель! Но это был я, это я когда-то ее любил, а потом перестал...

Все, что мне оставалось, – смягчить острый и отравленный удар в сердце. Мои глаза дрожали и резали, и если бы я их не закрыл, то непременно из них бы потекли тяжелые и мягкие слезы, – струна внутри меня порвалась и больно хлестала под ребрами, издирая легкие и что-то еще воздушное, пустое там рядом, чуть выше желудка. Соня плакала, и в каждом ее надрывном вдохе, когда она набирала воздух, – в каждом надрывном вдохе я слышал треск ее разбитой души, я слышал, как ее страдальческие вопли подпитываются в груди вместе с кислородом и раздаются все больше с каждым выдохом, – там, внутри, на месте сердца фонтаном билась взорванная кровь, и, неутомная и ядовитая, она несла по ее венам жестокое, безысходное горе. Мне было обидно и страшно, а она все громче ревела, ломаясь с каждым новым вздохом, и оттого я крепче ее прижимал. И я пытался – я пытался! – найти в себе хоть какую-то частичку, малейшую крупичку, за которую можно было бы ухватиться и отыскать прежние чувства, я почти копался в груди руками, вырывая эти осколки, – но ничего... Я мог ей сказать, что я ее люблю, но как бы это глупо и бессмысленно было! Что стало бы потом? Я знаю: мы бы странно говорили, мы бы смущались, мы бы в стеснении прятали глаза – что дальше? Мне это стало

уже достаточно давно неинтересно. Сонечка!.. Вот я смотрел на нее – гладил ее голову, прикасаясь к роскошным темным волосам, заглядывал на ее нежные смуглые щеки и в фиалковые милые глаза, – и я не чувствовал больше того, что раньше: да, это определенно были дорогие мне волосы, но они не были прекрасно-особенными; это были прелестные щеки, но они были обыкновенными; это были милые мне глаза, но они не были такими, в которых я мог поглощено и сладко утопать, – ничего... Прежде я мог любоваться одной только родинкой у нее под глазом – я любил все, к чему она прикасалась, я любил все, что ей принадлежало, и я любил все, чем она была.

И вот тогда, разглядывая ее кожу, волосы, глаза, я уже не нашел ничего необыкновенного и сверхпрекрасного: да, это очень дорогие мне волосы и глаза, и я чувствую, что они правда для меня навсегда будут единственными, но я их больше не люблю. Больше я их не люблю.

Белый блестящий воздух растворял ночную темноту и просеивал сквозь нее, как через сито, серебристые листья; сверкавшие каскады окружали нас, спускаясь на наши шеи алмазными цепочками, и это было похоже на застывший, остановленный в мгновении дождь. Мы с Сонечкой стояли в самом центре, под бледно-темным стволом ивы, и синий свет луны обливал нас, точно цветной водой. Но вскоре тучи перекрыли пробившийся чудом свет: рваным витком, походившим на неопрятную бороду, они напрыгнули на яркий

лунный диск и, обмотав, забрали его собой. Тогда голубая нежная трава опять почернела, словно покрашенная чернилами, и прозрачное, осязаемое пространство тоже пропало, снова проглоченное тьмой. Серебристые цепочки из алмазов – эти волшебные листья, переставшие сверкать, – теперь выглядели черными змеями, которые вот-вот зацепятся за плечи и намотаются на тело. И тогда Соня оторвалась от меня – ее маленькие гладкие ручки легли на мои ребра, и она оттолкнулась, высвободившись из объятий. Она взглянула на меня, скорчив болезненную улыбку, и сказала:

– Ничего, все нормально, – и даже закончила на веселой нотке, но я чувствовал, что легкий опустивший тон был только слабой, временно надежной маской, которой хватило бы лишь на то, чтобы обменяться парой слов, не больше, но за собой он скрывал битую, разорванную душу, и как только Она отвернется, ее голос задрожит в тот же момент, грудь и горло, задыхаясь, будут разрываться, и Она вновь заплачет, глубоко заливаясь безысходным ревом – таким тяжелым и страшным, неостановимым и диким, который будет только нарастать от ноющей, неутрачиваемой боли. И что сделать? Я попытался взять ее за руку и уже успел дотронуться до пальчиков, но она закрыла свою ладонь и увела руку дальше от меня, почти за спину.

– Я понимаю тебя, – Соня кивнула мне, медленно и гладко и стала отходить. – Ладно, пока, – Она улыбнулась мне напоследок, перед тем как уйти, и это была такая милая, лас-

ковая улыбка!.. Она появилась на ее лице, как и та луна высунулась из-за черных грозных туч: просияла – и скрылась, замятая грубой тупой темнотой. И потом Сонечка отвернулась, вышла из-под дерева – задеваемые ее плечами листья долго шелестели, противно скобля в ушах глухим шероховатым скрежетом, – и спешно скрылась на темной тропинке, по которой мы с ней сюда и пришли; и вместе с ней я представил шедшего рядом непонятного мужчину и еще каких-то детей, держащих ее за руку, – мне снова стало и вроде бы больно, но как-то не особенно, как-то безразлично, как если бы я печалился об уже давно утерянной детской игрушке.

Я остался совсем один, окруженный мраком со всех сторон; впереди не было видно озера, сверху нависали и ложились на плечи черные плетеные лианы, и воздух теперь не блестел – проглоченный тьмой, он был цвета копоти, совсем черный, как сажа, и будто бы просто не существовал, а я дышал пустотой. Спущенные лианы – темные, нераздельные во мраке ветви с листьями – щекотали меня, и я взглянул на одну из них: на упругой плотной черной веревке было невозможно ничего опознать, и я подумал, что это может быть настоящая змея, потому что твердая сухая кора этой ветки как-то оживленно и неестественно елозила в моей руке. Потом я нащупал глазами странные овальные наросты, выходившие из этой невидимой ветви, и на месте темной лианы мне увиделась длинная серая тварь, такая тонкая и злая, с торчащими из ее уродливого тельца острыми и мерзкими лезвиями, –

на секунду я подумал о большом пауке с огромными спицами вместо лап и гигантским грибом на спине, как бы животом. И я невольно потянулся рукой к этим невидимым темным лезвиям, но когда я наконец прикоснулся к ним, я почувствовал что-то резиново-жесткое и шершавое кончиками пальцев, и мой мозг в один миг напечатал в голове кучи страшных рисунков: теперь за одну секунду я увидел в этой черной веревке и гигантского розово-красного червя, и изорванных ножами змей, и склизкие щупальца, и больших тарантулов с мохнатой кучей ног; а потом еще я подумал о том, как это длинное существо начнет перебирать по мне своими странными лапами, вспрыгивая по моим щуплым невидимым рукам, и какое оно может быть странное, с щупальцами и уродливыми наростами, и стал видеть что-то такое невообразимо мерзкое и страшное, что даже не стал разглядывать это и в голове: я жутко испугался и в тихом, оледенелом ужасе, закрывшем мне рот, выбежал оттуда, подальше от этих странных ветвей, лезших к шее. Я буквально прыгал по земле, потому что в темноте не знал, где я и что может оказаться под ступней, пока, наконец, не споткнулся о невидимую – черную, как и все остальное, – корягу и не повалился на что-то мокрое, набухшее и достаточно липкое – на песок.

Я лежал на берегу, переводя дыхание, и радовался, что надо мною больше не нависают страшные чудовища. И только я вдохнул полной грудью, отпуская все неприятное, что

случилось сейчас, и расслабился, как в голову ударило: Соня!.. И вот мне снова было плохо. Я даже не мог понять, отчего я так расстроен, ведь Она мне все равно не нравится! Однако под ребрами болело: между легкими и костью щеко- тало и трогало пустотой, точно я надышался этим черным несуществующим воздухом и набил им всю грудь. Тогда я распластался по берегу, лежа на спине, и уставился вверх, в небо; во всяком случае там должно было быть небо, где-то в черной беспросветной бездне... Вокруг было так мрачно – как в комнате без окон, как в крошечном углу скрытой пещеры, – обычно говорят: хоть глаз выколи. И как будто бы темнота своим тяжелым угольным оттенком действительно выжгла мои глаза – выдавила и лопнула их; на лице я чувствовал только черные черепные ямки – глазницы, в которых ничего не лежало, точно в них, иссушенных и пустых, ничего и не могло теперь лежать. Но чем-то я продолжал видеть эту тьму, продолжал чем-то двигать вправо и влево, и что-то продолжало болеть, без конца ослепляемое взрывающимися сгустками черноты. Куда ни посмотри – ничего, вроде что-то поворачивается на лице, крутится из стороны в сторону, а передо мною все одна и та же темнота... На какой-то миг я запереживал из-за этого: от черной пустоты у меня уже болела голова, но я не мог никуда посмотреть и ни на что поглядеть. Тогда в мозгу мелькнула мысль о слепоте или смерти; и вместе с тем острое осознание того, что я понятия не имею, где точно нахожусь и что может меня сейчас окружать,

надежно скрытое тьмой, – это было страшно. Однако недолго. Уже следующей мыслью в голову мне вновь пришла Соня. Мои ноги и руки дрожали и порывались побежать за Ней, вернуть Ее, но это было бессмысленно: мрак стоял железным занавесом и поглощал вообще все – я и не знал, куда мне бежать, я не видел и собственной руки, я не видел ничего, совсем ничего. И я присел на песке, на смятый и понурый кусочек темноты – такой же невидимый и несуществующий, как и все остальное.

И вдруг откуда-то сзади стали раздаваться глухие и шелестящие влажной травой шаги. Они становились все ближе и ближе, и я слышал их уже очень громко, но все равно думал, что тот, кто ко мне подбирался, шел еще где-то там, далеко. Уже в следующее мгновение чья-то рука дотронулась до моего плеча и сквозь темноту на меня полился мелодичный и мягкий, не до грубости поломанный голос:

– Эй... – спросил меня кто-то, и я сразу узнал Юста, – как дела?

– Все... в порядке, я не ожидал... И ты меня даже слегка напугал, – ответил я ему, и в тот момент темнота словно бы вновь чуть-чуть поредела, просеялась, побледнела: в моих глазах больше не взрывались сгустки, и, более того, я разглядел довольно четкое очертание моего друга: он опустился на землю, сев возле меня, и полез в карман штанов – я не просто услышал копошащийся звук, нет, я видел, как его темная рука нырнула в такие же темные, но теперь видимые

брюки. Юст предложил мне сигарету, и я был так встревожен и напряжен, что не отказался и сам почти выхватил эту тонкую палочку из его пальцев. Когда мы закурили, вокруг нас еще посветлело – красный огонек отодвинул мрак и озарил наши лица. Вместе с пульсацией тлеющего кончика сигареты пульсировало и окружающее пространство – то стягивалось, сгущалось над нами, то вновь плавно отступало, и так без конца; это было похоже на ток крови в организме, если бы только тьму можно было назвать черной кровью.

Я успел уже пару раз дунуть и расслабиться, прежде чем Юст положил ладонь мне на плечо и, потрясши, произнес:

– Мне довелось услышать ваш разговор с Соней... Тьфу, то есть получилось, но это вышло случайно, и...

– Да, – рассмеялся я и смехом попытался смягчить его серьезный тон, но на душе лежало такое скучное чувство... У меня на лице всеми буквами и символами было выведено: Тоска и Тяжесть. И как-то вырвалось у меня:

– А скажи что-нибудь хорошее...

И вдруг стало так грустно, так пусто и невесело... Язык встал во рту неудобно, неправильно и мешался, как будто бы чужой и ненужный, точно у меня его никогда и не было, а теперь вдруг вставили; он словно онемел. Я ворочал этим незнакомым и странным куском, царапая и роняя его о зубы, а он только беззвучно и тупо извивался, перекручиваясь и ломаясь, и не выдавливал ни слова. Юст учтиво молчал, и если бы красный тлеющий огонек, плавно выраставший на конце

сигареты, не выгравировывал среди темного воздуха багровое, похожее на могильный камень лицо, по-мертвому непоколебимое и твердое, то я бы и не ощутил его присутствия. И он молчал, сомкнув и даже поджав губы, чтобы случайно не проронить ни звука. Но теперь, как бы мне ни хотелось этого избежать и не думать ни о чем, я должен был говорить. За что? За что? За что?.. Вернее было бы почему, но это не имело и не имеет до сих пор никакого значения. С нами кто-то поиграл – почему? за что? зачем? – все это об одном, но я только отыскивал настоящую причину.

– Прочти что-нибудь из своего, Юст, – просил я друга. Тогда мне показалось, что хорошее стихотворение в подобной атмосфере – мрак, огоньки сигарет и далекий свист воды – оказалось бы очень кстати.

– Мои стихотворения? – переспросил он мягким, звонким, напоминавшим скрипку голосом.

– Было бы славно, – и я распластался спиной на песке, оставив тлеть сигарету в зубах на запрокинутой голове, так, как будто бы эта плавающая бумажная трубка табака горела в невидимом небе.

Юст немного подумал – быть может, припоминал то, что вообще сочинил, а может быть, выбирал что-то особенное, – и наконец, спустя полминуты, как раз в тот момент, когда я выдул из себя призрачное, полуневидимое облако дыма, он начал читать – с выражением, очень красиво и точно переживая каждую строчку в самом сердце:

И подал бы кто сейчас надежду...

Мне очень страшно жизнь ворошить.

Мне не нужно, как им, снимать с тебя одежду,

Чтобы бесконечно любить.

Со всем, что имею, готов распрощаться!

Если бы только тебя и любовь твою мне дали взамен...

Я бы продал все что угодно, чтобы с тобой еще хоть чуть-чуть пообщаться;

Пусть жизнь дальше требует идти, но мне не нужно перемен.

– В общем-то... Оно не дописано, как и все остальное, и я всего лишь накидываю, когда на ум что-нибудь приходит.

– Нет-нет, Юст, мне понравилось... Впрочем, есть, может быть, стихотворение про природу? Или что угодно еще.

– У меня почти все стихи обращены к человеку, они все о любви.

– Да?

– Да ты послушай, стихи-то хорошие!

– Стихи-то хорошие, да, я не спорю. Ну давай.

Юст немного покашлял и вроде бы даже привстал, чтобы прочитать следующее стихотворение, – видимо, он гордился им больше, чем всеми остальными, и снова начал читать чувственно, красиво – всей душой:

А вдруг ты тоже меня любишь?
Или когда-нибудь уже любила?
Властящие чувства оказались подчинены,
И наши мелкие судьбы жизнь пленила.

Нет больше никакого смысла побеждать,
Чужую историю по-своему мы не сыграем.
Жертвы стихии! – и сколько на гребне волны ни орать,
Нас никто не спасет: мы здесь все утопаем.

Беззащитные, маленькие самообманутые люди —
Мы актеры драм и комедий, и случайность нам сценарист.
Мы от рождения отравлены мыслями мира,
А пешкой жить – совсем не риск.

Нет, это было слишком. Вот они, мои мучительные мысли и невыведенные ответы – они здесь: они вынуты из моей головы, размотаны, как клубок нитки, очищены и выставлены в этих строчках, упорядоченные и правильные. И я схватился за грудь своей темной рукой, пытаюсь разжать сдавленный в груди воздух, и поднялся на колени. Сигарета выпала изо рта и потухла, я даже не стал ее искать. В чем была идея развести меня с моей любовью? Пусть теперь я точно понимал, кто это сделал, но легче от этого не стало, а то и поплохело. Юст всегда был очень добрым парнем, но сейчас как буд-

то бы намеренно прочитал именно это стихотворение, чтобы ударить меня в самую грудь! Осадило меня действительно сильно и больно...

– Ты что? Илья, все хорошо? Прости, – раздался голос откуда-то сбоку, и Юст подсел ко мне и снова начал учтиво молчать, позволяя мне прийти в себя и утрясти мысли.

Какой-то теплый, гладкий ветер задул со стороны озера и стал овеивать наши лица и расслаблять, как горячее полотенце перед сном. Мягкий порывистый ручеек распахнул не застегнутый ворот моей рубашки и затек под него, щекотя голое тело, и приятными волнами забил по губам и глазам. И вдруг в голове загорелись предложения: «Все, что сделал для тебя, // Не будет больше ни с одной повторяться. // Я надеюсь, хотя бы ночами ты меня не минешь, // Чтобы я мог во снах для тебя появляться». Они пришли по очереди: сначала было первое, потом зажглось второе – я ничего не успел понять, все эти слова как будто бы уже были вложены в мой мозг.

– Ого!.. Стихотворение придумал... Так странно, – сказал я Юсту и прочел еще раз придуманные строчки и, быть может, чуть-чуть исковеркал, потому что уже забыл их.

– Отлично вышло, дружище! – Юст похвалил меня, а мне было непонятно, откуда мне так неожиданно явился этот дар.

– Это совсем не дар, – стал рассказывать мне Юст, как-то очень оживленно и вовлеченно, точно он сам нуждался в

верном толковании этого слова, – так могут все люди. Всякий человек хоть всего раз за свою жизнь, но скажет что-то прекрасное.

– Эти люди? – огрызнулся я и опять отдернулся: да откуда во мне эта злоба, я же не злой? Голос и слова как будто существуют отдельно от меня, либо же у меня психическое расстройство.

– Ты что, до сих пор? – Юст уже наверняка хотел кричать: он так сильно любил людей и верил в них, что не терпел ни единого мизантропического слова в сторону человека, будь то пьяница или даже убийца.

– Юст, серьезно... Скажи мне, что это значит – быть по-этом: не дар? Ведь есть такие люди, которые в творческом ремесле совершенные бестолочи! А талант? А способности?

Юст помолчал. Он опустил руки и протяжно выдохнул, напряженно формулируя что-то в голове. Его язык дрожал и угловато метался по рту, и от этого Юст пару раз издал произвольные цоканья. И наконец, тихо произнес, проскрипев, как струна, мягким и тонким голосом:

– Да нет, я не то имею в виду совсем, просто... Люди поют, когда им плохо, – он немного опустил голос, – все люди, пусть даже на мгновение своей жизни, бывают замечательными поэтами.

И после этих слов мы с ним замолчали надолго, во всяком случае, мне так показалось. Мы молчали, поглощенные темнотой, и теперь даже тлеющий табак не мог осветить наших

скверных лиц. Тишина вновь оглушила меня, и в ушах за-
трещало – я вновь поймал себя на мыслях о Соне: я думал о
ней, думал о том, как бездарно играет в нас жизнь, и, похо-
же, еще о том, что мне все ужасно не нравится. Неприятные
мысли просто воспалились в голове: они скоблили мне мозг,
и это противное чувство, как будто бы чья-то тяжелая рука
грубо шоркала мой череп внутри, – все тело отнималось и
болело; безжалостные, мучительные идеи росли и растека-
лись вместе с кровью – я не мог молчать: язык теперь оттаял
и бился о небо, зубы терлись о десны, и весь рот тянуло да-
вящей судорогой: челюсти кидались из стороны в сторону,
словно плавая по орбите, и рвались открыться. Юст заметил
мою дрожь и нестерпимую потребность заговорить вслух и
сказал, что он затем и пришел на берег – выслушать меня.

– Каждый, когда это действительно нужно, должен быть
выслушан, – так он заключил и мирно сел, полный готовно-
сти внимать и слушать.

Тогда я вздохнул, глубоко и свободно, и, расстегнув ру-
башку еще на одну пуговицу, чтобы теплый гладкий ветер
продолжил меня обдувать, начал:

– Я помню, как она говорила со мной – она говорила толь-
ко обо мне, как будто бы и не видела себя рядом, как будто
бы она так, знакомая или, хуже того, просто прохожая, как
будто бы мы и никто друг другу, несмотря на все, что было...
И это сильно било по мне на самом деле. Однажды мы встре-
тимся просто хотя бы на улице, а у нее будут дети, муж – се-

мья. Понимаешь, ей будет совсем-совсем не до меня, наверное... Иногда мне становится грустно, если я думаю о том, как много людей живут сейчас одновременно.

– Отчего же?

– Я не знаю, – я помотал головой и дернул плечами, – просто представляю всех-всех, кого когда-то знал или хотя бы слышал, вспоминаю тех, кто есть сейчас, кто будет после – людей так много... И в голове не укладывается, как все эти совершенно разные человечки могут быть как-то таинственно связаны и знакомы, и железная, ноющая тоска берет, когда думаю о том, что все они как-то действительно связаны между собой; а если не связаны, то от этого только еще тоскливее. И вот разве можно так жить? Их так много – людей много, а я один. Да все одни... Просто мне все это так дико. Я не хочу так. Нас с Соней опрокинуло страшное несчастье – а никто и не станет об этом думать! Мне это не нравится, как не нравится и то, что нас с Соней так нечестно развела жизнь – что я мог сделать неправильно? Меня одно успокаивает: я знаю, что произошедшее сегодня не конец и мы с Соней еще поговорим. Да, однажды нас еще ждет хорошая беседа...

– С Соней все будет хорошо, друг. Она забудет обо всем уже через пару дней, и на следующей неделе ей будет вовсе все равно. Все нормально.

– Да нет, не все нормально... Меня именно это и волнует, понимаешь? Вот как это случится: скоро мы все – все, кто

сейчас тут, – друг друга забудем: станем призраками, героями наполовину забытых, а наполовину уже тускнеющих легенд. Это непременно случится, как только мы переступим порог и выплеснемся в тот мир, который там, за два месяца отсюда, уже ждет нас. Может быть, это он делает с нами? Или так всегда было и только сейчас стало явным для меня? Я не понимаю...

Ты всегда так любишь и надеешься на человека – наверное, тебе очень чужды наши с ребятами мысли? Хочешь знать, что мне не нравится в людях? Их отношения – человека к человеку, ясно? Я их не люблю за все то, что они делают, за то, как они думают, за то, что они необъективны и злы, за то, что они могут ненавидеть, после того как страстно и горячо любили... За то, что они забывают друг друга... Забывают! Сколько хороших ребят я потерял, хотя очень ими дорожил... А теперь мы даже не узнаем друг друга, даже можем не подойти, если увидимся где-то...

И... Их много было – таких, как Соня: они так воодушевленно говорили о счастливом моем будущем, но так отстраненно: они никогда не видели себя со мной рядом. Они просто уходят... Оставляют после себя какие-то вещи, которые мне потом больно разглядывать, а сами пропадают, хотя не знаю: может быть, это я пропадаю? – но их больше нет со мной... Только эти вещи – такие маленькие, невзрачные и бессмысленные, но бесконечно важные и дорогие, бесконечно. И Соня такая же, и вы такие, и я таким становлюсь! Бо-

юсь, что стану... Вся эта мудрость, и опыт, и возраст – они делают людей смысленнее, умнее и приспособливают к той жизни, но в чем-то, наоборот, заставляют тупеть... Мы грубеем...

Может быть, люди всегда были такими... Но вот мне все это противно, и я это все просто ненавижу! И я никогда не успокоюсь, Юст...

– Ну, с природой человеческих чувств тебе не удастся ничего сделать. Твои мысли очень странные, спутанные и смешанные какие-то... Я думал, тебя беспокоит Соня, но, похоже, ты смотришь куда-то дальше...

– Все эти мысли о Соне... Я просто думаю о том, что не мы одни такие несчастные, нас таких очень много... Я сам не знаю, что думать, и вот как мне тебе объяснить то, что у меня в голове? Я должен понимать, что я не центр планеты, и я вроде бы понимаю, да... Но почему мне так грустно осознавать, что я больше не являюсь частью жизни нескольких близких моих друзей? Да, а сегодня я потерял и Соню...

Около Юста стояла совсем гробовая тишина – такая она была тяжелая и неодолимо безмолвная; он не просто не говорил – он не издавал ни звука, как будто бы даже не дышал, и воздух, которым Юст был окружен, стал твердым, густым и холодным от молчания.

– Нет, я правда сам не знаю, о чем думаю... Так много идей, теорий и мыслей было сегодня, и я всего лишь пытаюсь сформировать свою правду. – Я на миг задумался, а потом

добавил: – Давай позже продолжим этот разговор, я устал: меня просто сжигает этот мрак... И это крошечное одиночество!

– Может быть, я придумаю до вечера, что тебе ответить, – согласился Юст, и мы поднялись с берега.

Я стал плавными движениями разглаживать намокшую одежду, а затем, уже пройдя по ней грубой ладонью, счистил прилипший мягкий песок, который так противно въедался в ткань и не выковыривался. Первые шаги мы сделали мелкой и крадущейся поступью, опасливо прощупывая лежащую под ногами землю, но, как только вернулись на травянистую тропу, синий круг луны вновь пробился сквозь темную гущу туч и осветил нам дорогу. Гладкие порывы ветра догоняли нас и ласково трогали по спинам, обволакивая теплым воздухом и обдувая мокрые рубашки; пропитанные, они неслись с озера нескончаемым потоком и приносили с собой густой, нежный аромат чего-то влажного и живого – дышать этим было легко и приятно. Впереди из-за больших кустов просеивался блеклый свет горящего костра – от него желтела трава, золотисто блестели на деревьях черные листья, и даже сама земля становилась глянцевой, цветной вокруг огня; это было похоже на купол, выросший около пламени: свет падал на все равномерно, очень плавно перетекая в темноту. Когда этот свет костра лег и на нас, я увидел, как красиво развеваются на ветру кудрявые локоны Юста: подхватываемые легкими порывами, они расправлялись и улетали к затылку,

крученые и черные веретена, и до невозможного походили на спирали.

Впереди, из-за мясистых кустов ивы, скрывавших огонь, вышел чей-то неровный силуэт – сзади он был окрашен пламенем костра, и я видел синюю ткань на дальней стороне плеча, но переднюю часть его тела съело мраком. Этот силуэт наклонил голову, его длинная рука лениво держалась на затылке – было похоже, что он зевнул, – а потом, отклонившись назад, он окликнул нас...

Глава четвертая

Справа, размытые мраком, рядились далеко стоящие друг от друга дома с огромными мансардами – сдавленные темнотой, они выглядели ветхими и легкими, словно соломенные и ненастоящие, – а слева простиралось заросшее высоким бурьяном пустое поле; под ногами – почти невидимая, сухая сельская дорога, и над головой нависала беспросветная тьма. Но здесь было теплее, чем у берега. Где-то впереди в одном из домов горели окна – вырывавшийся через грязноватое стекло свет прямоугольным снопом лежал на дороге, но мы еще пока до него не добрались.

У костра мы быстро заскучали – делать там было особенно нечего: сидеть и смотреть на пожирившее дрова пламя, и у нас не было никакой пастилы, – и тогда пришел Влад Мошкин. И сам утомленный щемящей неопределенностью, смазавшей к ночи весь наш праздник, он предложил сходить до маленькой деревушки, которая находилась неподалеку, чтобы хоть как-то убежать от бесцельного просиживания. Конечно же, я согласился, а вот Юст с нами не пошел: вместо этого он направился вверх по склону, к веранде, надо полагать. Позже, у самого выхода с турбазы, на нас случайно наткнулся Паша Березин – к тому моменту он заметно отрезвел; вместе с ним по какой-то случайности оказался Женя. И так, вчетвером, мы покинули турбазу и по проселочной

грунтовой дороге отправились к деревне.

Идти было недолго, пару километров, которые мы наверняка преодолели минут за тридцать, однако в темноте, когда невозможно было определить ни пройденного, ни оставшегося, наш путь казался мне бесконечным, точно мы шли по беговой дорожке. Порой я думал, что мы уже совсем-совсем близко и видел одиноко стоящие дома, а порой мне казалось, что никуда мы не отошли от забора и турбаза находилась всего в паре шагов позади. В этом мраке – скрученной пустой воронке – нельзя было ничего нормально определить. И все же мы оказались в деревне.

До какого-то момента мы шли тихо, даже периодами ни о чем не говорили, и тогда я отчетливо слышал, как по траве пробегает с влажным шелестом ветер и какие-то маленькие зверьки носятся по земле. Это безмолвие было не менее скучным и тяжелым, чем там, у костра, однако все в корне поменялась в одно почти незаметное мгновение: Паше Березину вспомнился один неприятный случай, когда его доклад оценили не по достоинству, – это была одна из самых жестоких несправедливостей, приключавшихся с ним пока что, – и тогда он начал на всех подряд ругаться. Злопамятный и высоко ценивший себя, я тоже стал выискивать в голове что-то такое глубоко оскорбившее и меня – и нашел быстро. Так вышло и с Владом... И вот уже нам троим сверлили мозги мерзкие истории, которые произошли уже давно, но от которых до сих пор ломило злостью в груди и не было покоя.

Пожалуй, это началось как раз тогда...

Мы шли и кричали в темноту – нас никто не должен был слышать, и пусть никого вокруг действительно не было – а в особенности тех, на кого мы так пламенно взвелись, – мы кричали размашисто, без страха, в никуда, но на все. Женя, чей ум был только больше разожжен нашими историями, снова плел что-то про людей, узкость и жалкую природу, и все наши вопли накладывались друг на друга и уже походили на вороний безумный гул. Со мной никто не спорил, – тогда вокруг не было никого, кто мог бы что-то сказать, – а я все орал во тьму, куда-то в поля, о том, какой все это был бред, и еще о том, что все-таки я прав, пока они все – те, кто меня обвинял, – в корне не правы до сих пор. Истории-то были самыми обычными, до скверного обыкновенными: кто-то из нас всего-навсего попал под руку и был ни за что обруган, другой рассказывал о том, как ему за какую-то работу не доставили с десяток баллов; я говорил, как меня никто не хотел слушать, когда я хотел действительно объясниться... И пусть это были и вправду простые, бытовые истории, знакомые, наверное, каждому однажды, мы негодовали страшно: отчего-то те воспоминания разожглись в нас, и этим пламенем уже горели полностью наши мозги и сердца. Их было нечем потушить, и слава богу, что никого не было рядом: когда сила и бешенство стали перерастать наши тела, они начали выливаться наружу: руки, ноги и головы произвольно тряслись,

и только подать им то, что можно избить, истоптать, уничтожить... Мы потеряли самоконтроль в тот момент. Кажется, я бил кулаком по невидимой земле, чтобы хоть куда-то деть плескавшуюся через край энергию, и я уверен: тогда у меня еще получалось сдавливать свою злость. Может быть, это была и не земля; может быть, столб, бурьян или даже забор – я не знаю: все было черное. Но руки у меня потом болели и кровоточили. Так же, как и я, дрались с камнями и пустотой все остальные – нам всем просто необходимо было выдолбить эту энергию куда-нибудь прочь. Вскоре сквозь наш дерзкий и жестокий гул стали прорезаться еле слышные, мелкие, но такие же озлобленные крики, – они раздавались глухо, как далекие хлопки, но так без конца постукивали в ушах, так истерично бились где-то там, в темноте, что мы насторожились. Крики продолжились сбоку, и теперь они одни, оставленные нашими воплями, прорезали тяжелый воздух. Мы медленно, стараясь создать как можно меньше шума, продвинулись вперед. Камни, из которых была сложена дорога в этой деревушке, только и скрежетали под ногами, но все-таки, миновав старый гараж с обвалившейся известкой, из-под которой оголялся серый песочный бетон, мы наткнулись на того, кто орал. За гаражом, чуть поодаль, стоял одноэтажный квадратный дом – это из него на дорогу лился свет, который было видно отовсюду. У правого, ближнего к нам угла забора оскಾಲилось что-то высокое и многочисленное, точно сотни змей объединились в одно существо и готовы

были теперь напасть; такое страшное, кривое, непонятных размеров, – и смотрело на нас, взмыв над нашими головами и сторбившись, точно переломанное; оно было покрыто чем-то объемным и крупным, вроде меха. За большой полупрозрачной тушей этой громадины на чистую полянку брызгал яркий свет из оконной рамы. Я притих, присогнулся в коленях и пристально стал смотреть на поляну, буквально приклеив взгляд к ней. В самом ее центре, словно ядовитая, стояла одинокая худощавая яблоня – на ней уже созревали пара мелких, но очень красных плодов, – а вдали, у самого забора, как построенные, росли пышные кусты смородины. На поляну давил легкий, призрачный туман и молочной, несколько дырявой пеленой, как мазки краски на полотне, скрывал насыщенный зеленый ее цвет за своей бледностью. А между тем чьи-то озлобленные выкрики продолжали до нас доноситься, и Влад шепнул что-то мне на ухо, но я не услышал – в то мгновение зажегся яркий мощный свет на крыльце. С непривычки, когда эта желтая горящая лампа бросилась мне в глаза, я ослеп. Растирая веки ладонями, словно стараясь убрать с них больные лучи, я быстрее остальных смог прийти в себя. Эта страшная непонятная громадина у забора оказалась всего лишь старым цветущим кустом сирени, и за ним, сквозь его не полностью поросшие листьями ветки, я начал смутно видеть какого-то мужичка, энергично и с каким-то нездоровым энтузиазмом спускавшегося по деревянным оранжевым ступеням крыльца. Бесконтрольно, подчи-

нившись могучему внутреннему порыву, мы все вмиг припали к земле, однако свет лампы озарял улицу почти так же ярко, как прожектор, и скрыться нам не удалось. Немного потрепанные, в мятых костюмах и с противным страхом на бледно-красных лицах, он нашел нас, лежащих чуть ли не навзничь под большой его старой сиренью. Подняв голову, по непонятной мне причине оброненную к земле, я увидел, как этот мужчина спешно шагал к забору, точно боялся опоздать, и безостановочно, как эпилептик, тряс в нашу сторону пальцами.

– Что вы орете! Что вы орете на весь свет! Время – все спят, Леночка проснулась из-за вас! Что вы орете! – лепетал он, когда вышел за калитку и встал прямо перед нами.

Этот мужичок был уже вовсе не мужик, а дед скорее. Седые волосы редкими и толстыми нитями выступали из-под странноватой, свернутой в сторону шапки, и, пусть и не было видно его головы полностью, я был точно уверен в том, что он уже от макушки до самого темени облысел. На нем был мешковатый серый свитер с пуговицей, зеленые лоснящиеся рабочие штаны, перешитые заплатками так, что, наверное, от первоначального материала в них ничего-то уже и не осталось, и на ногах – узкие резиновые сапоги, чересчур походящие на валенки. Мы уже минуты три стояли безгласные, тихие, а он все продолжал кричать, не жалея воздуха и голоса, и кричал-то так, что сам уставал и оттого запинаясь, спотыкался, съедал целые слова, когда пересыхал язык.

Слова или даже предложения заменял он одним или парой звуков.

– Что вы здесь ходите? Кто такие? Что делаете? – громко спрашивал он. – Откуда? Кто вам позволил сюда приходить и в такое время? Я полицию вызываю! Вызываю!

Эти слова уже отобразились понятными красками в наших головах, мы перестали молчать и начали отвечать деду, пытаясь отыскать какие-нибудь оправдания, которые бы помогли нам сгладить острые концы его предъявлений и свести конфликт на нет.

– Ну зачем полицию, дед! Мы уходим, просим прощения, уже уходим, – начал с ним я разговаривать.

– Конечно, уходите! А кто с вами, пьяными, завтра будет бороться? Нет, так дела не разбираются. Леночка уснуть не может из-за вас, а я знаю: может, вы и завтра придете к нам, хулиганы!

– Какие хулиганы, дядь? Дед... Мы вон оттуда ребята, – Паша указал деревянными бледными пальцами куда-то в мрачное поле, туда, где должна быть турбаза.

– Какая мне разница, откуда вы и какие ребята? Второй час ночи, вы ходите, шум наводите в нашей тихой деревушке, – старик сделал пару осторожных шагов, чтобы встать поближе к нам, и одним выверенным, точным движением схватил Женю за локоть. – Диктуйте свои номера, мальчишки. Звонить будем, выяснять, кто вас, таких детей, вырастил.

– Угомонись, дед, мы нормальные, – ответил я ему.

– Мы из города, – подхватил Влад, – мы не наркоманы никакие, не идиоты.

Мне казалось, что у меня был обычный голос: трезвый и слегка уставший. Но слова, произнесенные Владом, просто разрезали мой слух: его голос дрожал и трещал, как стеклянный, словно у него в горле разбилась ваза и теперь он говорил через ее хрупкие и звонкие осколки.

– Да, конечно! Второй час ночи, в моей деревне бродят какие-то люди и Леночку мою пугают!.. Городские! Вот какие нынче у нас городские!

– Да что ты понял-то? – вяло огрызнулся Женя, все еще зажатый в руке деда.

– А то и понял, что драть вас надо было вовремя мамке с папкой, людьми бы, может, вышли, – дед потряс Женину руку и, оскалившись, начал доставать телефон из больших карманов штанов. – Диктуйте номера, мальчишки. Выяснять будем.

– Да что выяснять-то, дед, мы же уже сказали, что уходим, – стал его останавливать я, – и извиняемся.

– Мне какое дело до ваших извинений? Время – ночь, Ленка не спит, вы орете на всю мою деревню. Вы не уйдете отсюда, – он прихватил Женю за руку так сильно, что парень стал вырываться и просить, чтобы дед его отпустил, ведь больно, – с таким существом только через полицию и разбираться. Человеческое в вас надо бы начать воплощать...

Он не успел договорить. Не стерпевший боли Женя уда-

рил деда в грудь свободным локтем, отчего тот, отпустив его руку, повалился. Мы, может быть, еще мгновение смотрели на этого человека, так жалко перекатывающегося по земле, и, как только он снова потянулся за телефоном в карман, Женя со всего размаху пнул его по ноге. Старик закричал, тяжело дыша, и глухо, сухо что-то выдавил красными, залитыми слюной и пеной губами:

– Юродивые дети... – и закашлялся; затем набрал в легкие воздуха и, протягивая гласные, сказал еще: – Да чтоб жизни вам пустой, и родителям вашим мерзким... Юродивые... Хулига-аны... Полицию! Старая, полицию! Зови полицию, Алина...

Не помню, как это случилось... В тот момент мы даже не переглядывались, а туман, лежащий в воздухе блеклой пасстой и беливший все зеленое и живое, как-то особенно замер, стал холодный и до жути тихий. Не шевельнулась дряхлая, старая сирень, и звенящая беспокойная тишина гудела в ушах. Мои глаза стали более прозрачными, застекленели, по ним растеклась жидкая кровь... И какой-то протяжный щелчок в голове – короткий звон, в самом мозгу, я его почувствовал; с самых границ в глазах стало заплывать красным... Все стало багряным, и даже полотно мрака, окружавшее все вокруг за пределами яркой лампы, стало красновато светиться. В следующее мгновение я уже стоял на ступнях деда, вдавливаясь в них всем своим телом, точно хотел впечатать их в самую землю, а где-то впереди мельтешили трое

черных туфель: сначала медленно поднимаясь вверх, они с жестокой резкостью обрушивались вниз, и кто-то там, впереди, лежащий под этими туфлями, с тяжестью липко издыхал и громко, пронзительно простанывал...

...Затем ноги, носящиеся вверх и вниз без конца, отступили, и я увидел, как на земле, свернувшись комом, как порезанная гусеница, лежало маленькое грязное тело, извалянное в пыли. Этот старик? Нет, какое-то новое это было тело, не принадлежащее тому деду, который ругался с нами. Старик на вид был крепким да и стоял уверенно, а этот, на земле, сжался, как жучок, и валенки на нем были смешные... И лица у них были совсем разные: у того, орущего на нас деда, лицо было разъяренное, красное и походило на морду быка – такое же оно было страшное и железное от злости, точно все эти жуткие формы, принятые щеками, губами и лбом, были набиты на него штампом, как печать; полные ярости и живой готовности, его глаза горели, и сам он, старик, казался сильным и крупным. А тот же, что задыхался на земле, во все не казался могучим: это лицо обвисло и было бледным, и его бесформенный серый овал ровными линиями бороздила, оставляя за собой темно-красные, насыщенные цветом следы, густая струящаяся кровь. И глаза у этого лица поплыли: они стали потерянными и опустели; в них больше не горело ни ярости, ни силы, его твердые, держащие ноги теперь дрожали, и всем своим существом он трясся. А ведь это он, он еще пару мгновений назад серьезно грозил нам, сильный

и смелый старик.

Его подхватили, почти не дав отдышаться, – и я тоже взял его за дрожащие, разбитые ноги, – и перекинули за забор, небрежно вывалив на крапиву, росшую прямо под старой большой сиренью. Упав, дед громко и надрывно крикнул и снова протяжно застонал. А когда он отклонился назад, мне открылось его худое, перепачканное в земле и крови лицо. Мои глаза только на одно мгновение задержались на этом уваленном слабом теле, у которого, казалось, нет костей – так дряхло оно выглядело и даже по земле перекатывалось, подобно гусенице, – и старик поймал мой взгляд... Его осветила лампа крыльца – и исчерно-красное, побитое и испуганное лицо встретило меня. Чуть высунутый из-за губ язык, орошенный багряной мелкой пенкой, щеки, измазанные в пыли и грязи и проборожденные густой кровью, как-то неестественно заломанная бровь – все было в нем страшно, один вид.. И глаза: когда я облазил все стариковское лицо, рассмотрел его, со всеми пятнами и ссадинами, на которых уже запекалась и чернела красная жидкость, меня встретили пустые, потерянные глаза, не знавшие, куда им глядеть. Они метались, вдавились внутрь черепа и испуганным взглядом озирали сразу все, – а внутри как будто бы не было зрачка с радужкой, только огромные одноцветные темные печати страха, в них словно застыл ужас, какой он есть: тупой, холодный, безумный... Старик кричал. Он смотрел на меня и кричал – может быть, от боли, может быть, в аффекте, – но

он кричал, и мои глаза, точно прилепленные, никак мне не подчинялись: я хотел, но не мог их отвести в сторону. Я видел его закоптелое от засохшей крови, искривленное ужасной гримасой лицо, с которого на меня вытаращивались два пустых диких глаза, и широко открытый рот, испачканный и растянувшийся на половину всей его головы, – губы слипались от затекавших под них вязких темно-красных струек. Такое странное это было ощущение – смотреть на огромный, расплывшийся по овалу лица рот и одновременно сознавать, что это именно из него идут эти страшные, мучительные вопли.

В груди что-то ударило – с меня словно сняли забвение, какую-то мерзкую пелену; в одно мгновение все просто рухнуло: вся моя уверенность и твердость, вся злость и все прочие чувства просто пропали; ноги зашатались, а темнота стала странно прозрачной, видимой и явной – от этого у меня закружилась голова, и я стал отходить назад в своем легком, ватном теле, чуть не споткнувшись о вздернутый и торчащий из-под земли дерн. Теперь, когда я вновь нащупал взглядом старика, я как будто бы смотрел на него новыми, другими глазами. В них не было красного, зато от чистоты, в какой я увидел окружающее и какая бывает только в зеркалах, они ощущались холодными, внутри одновременно пустыми и полными, потому что только в этот момент я увидел в том сжавшемся, извалившемся в грязи и крови маленьком теле не что-то жалкое и безобразное, а беспомощного заму-

ченного человека. И мысль о моей причастности к ЭТОМУ, мысль о том, что это побитое маленькое тело – дело наших рук, и моих тоже! – это меня вогнало в дрожь.

На крыльце хлопнула деревянная дверь, и во двор выбежал невысокий светловолосый парень в простой серенькой футболке. Присев под сиренью, он подхватил старика под плечо и медленно, пытаясь его не уронить и не причинить ему боли, стал с ним подниматься.

– А ну пошли отсюда вон! – ткнул он в нас острым и холодным взглядом, от которого мне стало не по себе: мое тело стало еще более мягким и полым.

– А то что? Может, нам и тебя... – ответил ему Женя, и голос его был беспокойным: то высокий, то низкий, он трещал от ярости и был волнистым.

Тогда дверь на крыльце в очередной раз хлопнула, и на ступенях появился огромный силуэт. В руке у него, кажется, была дубина, но если это было так, то держал он ее как-то странно, необычно – так палки не держат. В тот же миг он что-то неразборчиво закричал, а в воздухе раздался оглушительный щелчок. Земля под нашими ногами взорвалась, каким-то душным и вонючим стал воздух, и мы кинулись без памяти в темное поле. Цепляясь пятками за высокий неотвязчивый бурьян и путаясь в нем, мы без оглядки неслись прямо – а может быть, и непрямо, в темноте было невозможно ориентироваться, но мы стремительно убегали прочь от деревни, только и думая о том, как бы поскорее скрыться от

простирающегося света лампы. Мы не знали, куда ведет поле, но когда я почувствовал, что земля стала уходить из-под ног и наклонилась вниз, я всерьез испугался, представляя, что впереди нас ждет обрыв, если только мы уже не сваливаемся по его отвесным стенкам. Я хотел было уже остановиться, когда в нескольких метрах от меня со свистом пролетело что-то маленькое и неуловимое, – я слышал, как под ним ноюще рвались стебли чертополоха и камыша, пока с глухим звуком оно куда-то не вонзилось. Это придало мне сил, и я пустился по полю еще быстрее, убегая в самый мрак теперь уже без страха упасть в болото или сорваться с обрыва – то, что несло нам в спину, меня испугало куда больше. И еще долго, до самой остановки, все то время, что я бежал, меня преследовало его ощущение – бешеное и смертельное, словно бы за мной гнался огромный зверь и уже наступал мне на пятки, уже хватался за них лапами, запуская в них когти и готов был схватить полностью мою ногу своей большой и острозубой пастью. Бешеное и смертельное... С каждым шагом мое сердце ударялось с такой силой, что, мне казалось, оно должно было проломить мои ребра, и меня не покидало страшное чувство: я каждый миг ждал, что со мной что-нибудь случится, каждый миг я думал, что наткнусь грудью на копьё или нож, что в спине у меня уже торчит пуля, что я тону или что по мне ползет змея, каждый миг. Бешеное и смертельное... Оно преследовало меня в этом мраке, крошечном и черном, и я не знал, где я или хотя бы куда бегу.

Не знаю, сколько времени я еще в беспомощности несся прочь от деревни – это сложно было определить, а я бы мог бежать и дальше. И силы во мне еще вроде бы были, и воля, и страх – но я все равно рухнул на землю. Сначала лицо мне тормозил жесткий ветер, а потом вдруг ударило что-то тяжелое, грубое и тупое – поле, и ощутил я себя уже только лежащим в больших ворсистых листьях лопуха. Видимо, у меня заплелись ноги, и от этого я свалился. Несколько мгновений я так там и пролежал – без единого движения, в том же положении, в каком упал, и простым взглядом сверлил гигантскую дыру тьмы, вставшей надо мной со всех сторон, – от ее абсолютной сплошности у меня заболели глаза: в них стали расплываться черные пятна, и на один миг я подумал, что умер. Мое дыхание куда-то делось, а легкие стали пустыми – я и не думал о том, чтобы закричать. И вдруг, когда я не мог услышать и своих собственных мыслей и даже тока крови в ушах и был весь поглощен неприятной болью в лице, в воздухе прорезался голос Влада:

– Илья! – раздалось где-то поблизости, и кто-то сел рядом со мной в лопух и начал громко дышать. Затем, почти в тот же момент, он снова закричал: – Я нашел его, Женя, сюда!

Раздались глухие шаги, под которыми трескались сухие стебли травы, и шелест высоких колосьев откуда-то справа, и спустя еще одно-другое мгновение кто-то также вышел ко мне из поля.

– Ух, – с каким-то облегчением в голосе произнес Паша, –

ты тут.

– Ладно, идем, отдышались уже, – позвал за собой голос Жени.

Влад пролежал в лопухах еще несколько секунд и с большим надрывистым вдохом поднялся, а я все никак не приходил в себя. Чувство смерти и страха отступило, но пока еще не ушло: мне до сих пор казалось, что из этой темноты, спереди, куда я устремил свой туповатый взгляд, точно уже готова выпрыгнуть и накинуться страшная тварь – огромная зубастая морда без туловища, с красными перерезанными глазами и уродливым безграничным ртом – так я ее представил и замер в неподвижной позе, только ее и ожидая. С каждым мигмом, пока она не появлялась, ощущение того, что она должна накинуться уже вот-вот сейчас, все усиливалось, но морда эта так и не выходила из кустов, и мало того, даже шум, гнавший за мной на протяжении всей беготни, стих и пропал полностью. Парни подняли меня за плечи, и я понемногу стал успокаиваться. Свет с крыльца того дома скрылся из виду, да и сама деревня явно была уж очень далеко – во всяком случае достаточно для нас далеко.

– Ну? – потряс меня за плечо Женья. – Что с тобой? Идем.

– Куда? – еще неосознанно, как-то автоматически я спросил его.

– Там где-то был свет, дорога, наверное. Посмотрите по сторонам и увидите – на свет пойдём. А я очки потерял, сам не увижу его теперь.

– Так это же наверняка деревня! – на одну секунду страх снова вернулся в мое тело, и я дрогнул.

– Нет, это был свет фонаря, дорожного фонаря.

– Вон! Я вижу! – сказал Влад и куда-то зашагал: снова зашелестела проминавшая под ногами трава.

Мы развернулись и пошли за ним, на его голос. Еще только пару минут мы провели в темноте и неосознанно шли прямо, совсем ни о чем не думая. Моя голова уж точно тогда была пуста, как будто бы и в ней был весь этот мрак, и даже вместо мозга, на его месте, я чувствовал эту проклятую всеохватывающую копоть. Но как только свет лампы накинул на нас плешивые блеклые тени, которые больше походили на высыпанную на поле грязь, чем сама чернота, лежащая на нем уже полночи, как только я вновь мог различить все три фигуры рядом с собой, мысли вернулись ко мне – здравые мысли: теперь не было никаких монстров, скрытых в высокой траве, и никаких обрывов, и самого поля – его тоже не осталось в моей голове. Первым же воспоминанием пришло то последнее, что запечаталось моим взглядом там, в деревне: два одичавших, испуганных глаза, перепачканное в густой темной крови лицо, подернутое гримасой безумия и ужаса, и маленькое больное тело, дрожащее и стонущее от мучений... «Это мы?» – первое, что взорвалось в мозгу – в мозгу, который теперь я ощущал не масляным черным пятном за черепом. – «Это что – мы?» Я опустил взгляд в землю и топил его в ней, не в силах посмотреть вокруг себя, по-

ка перед глазами разворачивалась заново та самая картина: ноги, мелькавшие вдоль стариковского туловища, мои худые руки, схватившие его, и страшный тупой звук, с которым дед упал на крапиву – хлопок и приглушенный треск раздались тогда под забором так жутко: он словно разбился. И все это я прокручивал сейчас в своей памяти без конца, снова и снова, прокручивал, как пленку. И когда наконец мы вышли на дорогу и всех нас залил ясный фонарный свет, я как будто бы потерялся. Вся жестокость, это избиение – это было так бессмысленно и страшно, и меня это ужаснуло, ужаснуло до самой глубины души, до ее корня. И думаю, не меня одного. Уверен, Влад и Паша только пока еще не поняли... В одно мгновение я обозлился на всех нас, а когда живые лица представились мне видимыми, со мной что-то произошло. Мои глаза снова налились красным, и я снова перестал контролировать себя: откуда-то изнутри поднялся странный вихрь и взялся за мое уставшее мягкое тело – он словно вдавил в меня силы и, заиграв мной, как куклой, понес вперед. Я вцепился в Женину рубашку кулаками и стал накручивать ее ворот на свои пальцы:

– За что? – я кричал на него побитым дробным голосом, хрусталь которого слышал и сам, – за что его? За что?

Женя молчал. Он уставился на меня и – было видно по глазам – что-то соображал, пока Паша с Владом пытались меня оттащить и что-то вместо него отвечать.

– Что за что? Что с тобой, Илья? – спрашивали они, – что?

– Старика за что? За что? За что?!

Только тогда Женины глаза прорезались на миг ясностью, и уже в следующее мгновение все его живое освещенное лицо выпятилось на меня с ехидством и даже каким-то злорадством.

– Да за то, что он никто!

– За что?..

– Он никто. Он ничего не сделал, кроме разве что того, что преувеличил число ртов, которые земле придется кормить. Пару новых человек – популяция, так бессмысленно для планеты и будущего...

Этот старик – никто, и никак его не зовут; ничего не сотворив для мира, он встал тут перед нами и командует и осуждает! Вот за то! Я терпеть не могу осуждения всякой бездарной и бестолковой сори.

Я опешил, точно меня огрели тяжелым камнем, бросил его ворот и отошел.

– За то... Уж это не нам решать – мы его первый раз в жизни видим! А его... – промычал я. – Мы сами наткнулись на неприятности, потому что помешали его дому спать!

– Я знаю! Я знаю, что ничего он не сделал!

– Я надеюсь, что ты просто пьян, Женя, потому что это, – я указал в темноту, в то место, откуда мы пришли, – это уже далеко за границей всяких ценностей; потому что это уже слишком.

– Это?..

– За что мы били деда? Ну скажи, за что? Чем это было полезно для будущего? Ответь мне по-нормальному: что настоящего в том, что мы старика изваляли? Это великое дело? Но ты пьян, ты очень пьян, чтобы ответить честно. – Я отвернулся от него, не в силах смотреть по сторонам: от мыслей о том старике мои глаза чем-то давились и падали в землю. – Хотя бы попробуй подумать...

Женя замолчал, а в глазах его все потерялось, так же как и в моих. Один раз я пересилил себя и взглянул в его лицо – на нем все плыло: острые углы бровей опали и съехали так низко, что, казалось, они теперь лежали на самых щеках; лепестки губ были бледны и закатились внутрь, а глазницы стали пустые и темные, и глядел он из них на меня незнающим, усомнившимся взором. Снова унося свой взгляд вниз, я мельком заметил то же и на лицах Паши и Влада: через них наружу смотрел ужас, еще до конца ими не осознанный, но уже в них открывшийся. И мои руки вспыхнули – я чувствовал, как в них кипятком бурлит кровь, и вихрь, захвативший мое тело, уже стал возносить их над Женей, как вдруг... Я их увидел: эти трясущиеся тупые палки, как-то нелепо выдававшиеся из шеи и груди, – руки. И еще уродливые неровные костяшки – каменные впячивания на ладони, которыми можно бить и разбивать человеку нос, выдавливать глаз, ломать челюсть – это так противно... Я брезгливо бросил их, как грязные и мерзкие вещи, и ненавистным взглядом окинул всю троицу в последний раз – и отвернулся. Меня

никак не покидало ощущение присутствия четвертого в их компании, но я не позволял мыслям об этом развиваться и искать отгадки. Внутри меня что-то горело – какое-то гадкое чувство, которое я не мог выгнать вон из себя: от него у меня жгло в груди, и хотелось скоблить мозг, и весь я себе был отвратителен. Эта зараза поразила все внутри меня, как микроб или вирус, и въедалась во все подряд – мне хотелось просто вывернуться наизнанку, но и того, вероятно, было бы мало.

– Идем отсюда уже, – рассеянно бросил я в воздух перед собой и пошел вдоль дороги, соскальзывая по гладким и пыльным булыжникам, через шаг-другой запинаясь и шаркая по земле.

Все трое еще постояли несколько мгновений, и я уверен: их поглощал ужас в тот момент, а если бы я обернулся, – чего я больше не сделал, – то меня бы встретили три пары вдавленных в череп, страхом насквозь пробитых глаз. И все-таки, скованные и защемленные внутри себя где-то глубоко, они тоже стали медленно ступать по дороге, догоняя меня. Наверное, их тоже сжигала ненависть.

Глава пятая

Сейчас вокруг костра было темно, воздух стал черным и непрозрачным, как и должно быть ночью, и огонь больше не мог осветить и маленький его клочок; пламя потускнело: его буйные, гордо бьющие из дров языки опали, оранжево-желтый свет стал глубже и темнее, и догорали красно-черные мертвые поленья. Когда я вышел сюда, весь сбитый и сам себе чужой, с глубоко опустошенными глазами, Юст позвал меня подсесть к этому потухающему очагу, – верно, он там снова работал: думал, сочинял. Найдя, что я ему мог помешать, я бы без колебаний отказался и ушел в тот же момент, но почему-то тогда, несмотря ни на что, я остался – я почти уверен, что мои ноги бы меня не подняли: так тяжело и тупо они лежали на скамье, как окаменелые, да и всего себя я ощущал какой-то плоской выжатой тушей или обшарпанной картиной, и мир мне оттого казался безобъемным и кукольным, ненастоящим; это странное чувство, я как будто был статуэткой. Я не хотел разговаривать с Юстом о том, что произошло в деревне, и в то же время не мог об этом не думать – мысль, как мерзкая щетинистая щепка, раздражала мозг. Как-то косвенно, не напрямую я заговорил о Жене, старательно пытаюсь не выдать произошедшего, и у меня вышло вытянуть Юста на беседу.

– Нет, Женя, он... Он такой парень, идейный. У него вер-

ные мысли, и единственное, что ему мешает сейчас так же правильно действовать, – вспыльчивость. Излишняя горячность и нетерпимость, у него слабая устойчивость к конфликтам. Не будь над ним контроля, так он побьет кого-нибудь до смерти! – Я дрогнул от этих слов; поменял позу, расположившись под более острым углом, и стал напряжен еще больше прежнего. – Понимаешь, ему трудно выразить свои мысли, а оппозиции и возражения его приводят сразу к агрессии. Именно поэтому сейчас мы с ним работаем вместе. Как донести его идеи до людей гуманным способом? Вот для чего я появился в этом деле: я его голос и грамота; животным крикам я придаю образность и ясность, грубому изложению – некоторую вежливость, а тяжелые кулаки заменяю доходчивыми, чересчур развернутыми – до противного – предложениями; я превращаю жестокую, кровопролитную революцию в реформу, сглаживающую все насилие и создающую реальную возможность что-то вложить в умы. Я отображаю идеи Жени в статьях, и сейчас мы почти готовы выпустить одну очень серьезную работу, весьма долгий и упорный труд. Знаешь, это точно что-то будет! Суровый, строгий и твердый язык, который, подобая стилю, не должен иметь отличительную эмоциональность, разрознен внутри себя чувственными, жаркими вставками, такая лирическая оправда скупному серому тексту. Это и не наука, но и не полная публицистика, понимаешь?

– Неужели ты одобряешь все, что он говорит?.. Он страш-

ный человек! – воскликнул я. До сих пор перед глазами у меня стояла та деревня, забор и дедушка, а Юст так вдохновенно рассказывал об их совместной с Женей работе... Мне вдруг представилось, что Юст там был: что он тоже бил, и стоял над крапивой, и ухмылялся ядовитой улыбкой, – но это бред, это невозможно. Весь встревоженный и натянутый, как струна на скрипке, внутри я чувствовал дрожь, собравшуюся посередине, вдоль позвоночника, как ствол переплетенных нервов, – у меня тряслись даже глаза, и это мешало мне вглядываться в Юста, одномоментно ставшего для меня очень странным и подозрительным.

– Нет, послушай, я несколько не разделяю его жестоких слов в сторону людей, ты меня прекрасно знаешь. В отличие от многих я страшный человеколюб, в этой любви я даже слегка неадекватен. Женя беспощаден и высокомерен, он мизантроп...

– По-моему, он безумен.

– Возможно это и так, но если ты очень хорошо прислушаешься, то точно услышишь его истинные идеи – такую основную, центральную нить всех его мыслей, спрятанную за бесчеловечностью и жесткостью личности, – а они благородны и весьма продуманы. Я же говорю: ему бы только поступать так же верно, как думать, но что неправильно в его мыслях? В нем вызревает живое зерно перемен! Здесь важно лишь взять и передать миру то, что нужно. Я ведь этим и занимаюсь!

Это уже становится опасно: человек приходит в школу, считывает и выслушивает тонны информации – для чего? У нас нет самостоятельности и творческой свободы: делаешь, как требуют, выполняешь, как научили выполнять! Вскоре это станет основной причиной или, как говорят еще, движущей силой деградации. Проходит пару дней, а человек уже и не помнит, что он вычитывал и что выслушивал, потому что уже все забыл! Нам дают одну теорию, но практики нет: практика должна быть самостоятельной – самостоятельной в самом настоящем значении этого слова. И теперь ты понимаешь, что практики у нас нет! Мы лишь повторяем, а нас то и дело подправляют – строгают и округляют, стараясь сделать идеальными, придать нашему разуму правильную, если угодно, удобную форму. Нас вырезают, как тупые деревяшки! Мы не можем делать иначе, а только так, как нас научили. Мы растем простыми потребителями... Они же буквально не позволяют нам думать своими мозгами! Мы не можем оформить решение задачи как-то по-другому – только так, как написано в положении, даже если ответы сходятся и верны... Они даже определили разряд оформлению любой работы! Есть правильная и есть неправильная запись! Ты понимаешь? Оценивают не умение решить задачу, а умение правильно записать ее решение... К чему это? Не спорю, друг, для понятности и упрощения, для единения, наверное, но это слишком... Это убивает индивидуальность и всякую мысль! «Зачем изобретать велосипед?» – говорят они.

Да чтобы голова работала, чтобы думать, идиоты! Но то, что мы почти ничего не выносим с этих начальных жизненных уроков, кроме мертвой теории, – это еще только половина беды. Мало того, что с голой теорией человек в жизнь вступает, как со степенью инвалидности, мало: никто этим и не думает заниматься! Напичканный информацией, но не знаниями и умениями, человек заканчивает школу. Что ему делать дальше? Разве он может знать, если по существу ничем не занимался? И вот скажи мне теперь, кем он должен хотеть стать? После всего этого множества секций и занятий, на которых он так и не получил нормального ответа на вопрос, зачем ему это?

– Да, ну...

– Умения! Человек впитал информацию, но никак ее не представил. Ему говорят, что надо делать и как надо делать, но не говорят, для чего и почему именно так; от него требуют повторять, еще на корне обрезая все желание и возможность выдумать что-нибудь свое, новое, его учат делу, но не любви к своей работе! Человек и не знает, к чему у него лежит душа, что он может получить от жизни, пойдя своим путем. Эгоисты и пессимисты теперь составляют большую часть нашего общества, а ведь когда-то мы были мечтателями... – Юст поправил свою развязанную и перекинутую через шею ленту бабочки аккуратным движением пальцев, тяжело вздохнул, точно с глубоким вдохом он глубоко что-то прозрел – в его дыхании я уловил горькое и размякшее, как

гнилая рана, разочарование, – и продолжил: – Я думаю, это неправильно. Выходит, что человек, окончив школу, не может даже предположить, где ему себя искать? В последнее время нас таких стало куда больше, чем было еще хотя бы десять лет назад. А что и говорить, если до сих пор остаются люди, находящие себя лишь в старости? Это уже большая проблема. Черета, порядок, система! Но дайте человеку свободу не только мысли, но и действия, и воли – вот что нам нужно, – Юст говорил медленно и странно, запинаясь, и его тон был бесконтролен; от усталости и алкоголя его голос хрустально скрипел и звучал сумрачно, смято. – И это тебе только одна из многочисленных его мыслей. Все надлежит менять! Все к черту! Все это становится ужасно, и нам остается одна доля: стать реформаторами и революционерами и призвать к этому остальных. В противном случае, если такой порядок жизни будет сохранен и в наше время, мне страшно за будущих потомков. Подумай, что мы им оставим?

– Разрушить до основания...

– Что?

– Почему ты все посылаешь к черту? Наука, которой нас учат, так долго формировалась, и если ее снести, то человек очень скоро спустится в один трофический уровень с животными! Это ваша цель?

– Вовсе нет! О чем ты? Ты не слушал. Мы меняем не науку, а людей и их установившиеся порядки. Эти установки как недоразвитое, уродливое растение; они лишены во мно-

гом логичности, справедливости и объективности! Так разве это хорошо? В них есть, конечно, что-то продуманное и умное: свои идеи, своя правда; но зачем катить повозку, если уже можно изобрести машину? Вот о чем я тебе говорю: мы должны быть лучше и должны мир сделать лучше! Но дело в том, что речь идет о целом человечестве, наша работа – это вовсе не устройство никакого форума с вдохновляющими выступлениями, людей надо менять по-настоящему, и они сами должны себя менять. Ты понимаешь, как это сделать? Как реформировать общество? Как переделать мир? Надо начинать с себя: необходимо пересмотреть свою личность, преобразовать ее! Это все, что ты можешь, но это все, что нужно. Исправляй в себе необъективность: думай шире и будь рассудителен, поступай обдуманно и честно, взвешивай каждое свое слово, каждую догадку, каждую мысль, и тогда, может быть, ты станешь хорошим и мудрым человеком и тогда сможешь помочь миру. Люди пойдут за тобой, тебе предстоит их только направлять. Чтобы изменить мир, человек должен прежде всего измениться сам.

Время движется вперед, и если мы не возьмем наше общество и не поменяем его в корне, не сделаем лучше, то все, что натворил человек до нас, просто подорвет эту жизнь. На нас обрушатся еще более страшные испытания, чем те, которые выпадали на долю тех, кто был до нас. Придет новая технология, но бояться нельзя! Надо быть сильнее, надо быть лучше, чтобы в нужное время быть готовым.

Я молчал. Я ничего не говорил и не хотел даже пытаться открыть рот и воспроизвести хоть какие-нибудь звуки – я много думал и бесконечно осмыслял все, что сказал Юст. Но всего этого было так много! Слишком много, чтобы выслушать и понять за один раз. В конце концов я еще не оправился от безумия, охватившего меня так неожиданно в деревне, мое потрясение еще не прошло. Я просто молчал и смотрел на потухающие красно-черные угли, пока Юст... Да впрочем, и Юст был погружен в себя: видно, снова впал в короткую тихую меланхолию, с ним такое обычно происходит.

Словно отрезанные от всего остального мира куполом, мы просидели в абсолютной тишине минуты три, и нас не обдувал никакой ветер – мы даже озера не слышали, хотя в темноте его маленькие плески должны были раздаваться звонко. Но наконец Юст заговорил, утерев нос и глаза плавными, мягкими гребками ладоней:

– Ты думал о том, какое это чувство, когда становишься очень взрослым? Нет больше тех людей, которые знали бы ответ на любой вопрос, и не у кого спросить, где лежит твой паспорт, СНИЛС или футболка... Никто больше не будит по утрам, и больше некого благодарить за вкусный ужин или обед, ведь себе же спасибо не говорят. Наверное, это жутко волнительно. По улицам ходят только ровесники, а то и моложе, причем даже в старости ты их всех видишь юными, какими помнишь, какими они были. Как будто бы всех взрослых, каких мы помним, к каким можно было прийти

за советом, из-за которых по улице ходить было спокойнее и жить было спокойнее, просто зная, что они есть, не стало... А мы теперь вместо них, на их месте... И теперь мы должны знать ответы на все вопросы, мы должны поддерживать мир в таком состоянии, чтобы ничего не рушилось, не ломалось, чтобы у всех все было хорошо, а это так сложно и тяжело... Думаю, когда это случится, это будет ужасно тревожно. Поэтому мы должны быть лучше, уже сейчас мы обязаны строить свой мир, потому что время начинает приходить – наше время начинает приходить. Старое надо сместить, надо его улучшить. Нужны умы: смелые, горячие, живые умы, которые всегда и двигали эпоху вперед.

Вот сейчас я стал понимать: эта идея наконец засветилась в моей голове, прояснилась и вдруг проникла в мою голову так быстро и в таком большом количестве, точно череп, мешавший ей войти, раскололся, и в разлом она провалилась, как тонна воды, устремившаяся из пробитой дамбы. Наконец вся эта последовательность событий, которая брала начало еще в прошлом году и продолжалась до сегодняшнего дня, – все, что произошло сегодня и что будет происходить дальше, – приобрела для меня смысл и выстроилась в упорядоченную цепочку. Самое главное, что осталось, – надо только правильно ее трактовать, понять ее так, как она задумывалась, что она несла и несет в себе до сих пор.

– Кажется, я понял! Юст, я понял! – воскликнул я, обратившись к нему. Он же сидел неподвижно, и в его хру-

стальных глазах отражались красные пятна углей, как в зеркале. Он был очень напряжен и предан своей вечной меланхолии, но это было неважно. Я теперь понимал, куда должен идти, к чему мне надо стремиться; еще час назад неудержимо надвигающееся «завтра» пугало меня своей неопределенностью; словно скрытое за пепельной завесой, оно представлялось мне серым, мокрым и загадочно-жутким, как еловый лес в непроглядном тумане, а сейчас же эта неподвижная завеса порвалась: свет, исходящий от нашедшейся мысли, прорубил ее тупую грязную ткань и залил собой все, что было серым, мокрым и жутким. С этого «завтра» как бы стрясли пыль.

– Это хорошо, что ты начинаешь понимать, потому что в мире и так достаточно материла, с которым придется справиться, – как-то отвлеченно, хриплым голосом ответил Юст.

– Материала? – удивленно переспросил я.

– Да, люди, способные только впитывать все, что им скажут. Их много, знаешь... Они всем недовольны, и они ничего не делают. С такими новый мир создать будет трудно. Что они могут сотворить? Вечно недовольные и ничего не делающие... Они даже с дороги-то не отойдут – мешаться будут!.. Ты не подумай, я всех люблю, всех людей, просто... Отчего я вечно такой печальный? Я думаю, думаю беспрестанно, всегда, потому что не понимаю! Мне так часто говорят, что все, творящееся сейчас вокруг, это нормально, что я невольно стал в это верить, однако я, как никто, пожалуй,

осознаю абсурд и бешенство, вырождающиеся прямо сейчас в людях... Мне это не дает покоя – эти характеры, эти настрояния в окружающем обществе... Я думал над тем, что ты сказал мне у берега, и пока мне нечего сказать – я просто согласен. Мне тоже все эти отношения между людьми до такой степени непонятны, что я не знаю, кто в этом виноват: сами ли люди такие мелкие дураки или это жизнь противная все подряд правит ради мерзких шуток? Все это абсурд и совершеннейшая глупость, Илья, вот только все это никак не дает мне покоя. Ведь столько всего неправильного происходит прямо сейчас! А единомышленников так мало, и так много неспособных или пока непросвещенных! Что с этим всем делать? Как же воздвигать новое, когда мы только больше разрушаем и уродуем старое? Раньше были ценности, хоть какие-то моральные и нравственные устои, опора, фундамент для людей, а сейчас нет ничего: теперь все – рынок. Раскрепощенный, бессовестный, жестокий рынок – вот наша жизнь, и бессмысленный безостановочный бег от всего и всех – доля, которая нам досталась. Мы привыкли ко всем удобствам, которыми себя когда-то окружили, и больше ничего не хотим. Мы недовольны, но мы ничего не сделаем, мы рабы, сами себя заключившие в тюрьму несчастья. Все, что нам однажды останется, – это идти по дороге, которую нам показывают, которую мы беспрекословно выберем, потому что другой не создали.

– Дорога – вот чем нам необходимо заняться, ведь так?

– Именно, дружище. Надо вырываться из этой каши, перестать в этом вариться! Пусть слабые никогда уже ничего не смогут сделать со своей судьбой, однако мы еще можем повернуть. Если ты наконец это понял, то держись этого курса, будь лучше. Нам предстоят самые великие дела.

– Да, Юст! На нас закончится этот рынок! Мы не отупеем, мы оставим умы дерзкими и свежими, свободными от серой рутины, и все изменится: мир будет другим, когда не станет дураков, которые пока что ходят по нему.

Юст вздохнул, снова очень глубоко и протяжно, таким тяжелым вздохом, через который просвечивалась грусть.

– После дураков, живущих сейчас, будут жить другие дураки. – тихо и разочарованно сказал Юст. – Люди не изменились именно в наше время, никакая чушь про поколения неуместна ни здесь, нигде: они всегда такими были, просто сейчас настало время, когда можно не скрываться, не прятаться, не таить ничего, потому что ценности уже обмельчали – скоро они и совсем пропадут, и вот тогда, когда не будет ничего, тогда человек будет свободен. Как он всегда и хотел... Только все это будет неправильно.

– Точно? Почему? – спросил вновь недоумевающе я.

– Тогда у нас пропадут религии.

– И это важно? – возразил я и вдруг вспомнил, что родители Юст верующие, и тогда мне стало неудобно и стыдно, ведь я мог его обидеть. В груди защемило.

– А как это может быть не важно? Религии, сколько их и

какие ни есть, были придуманы людьми только оттого, что им всегда надо было во что-то или кого-то верить. На самом деле все, что нужно человеку, – надежда. Все истории у религий разные, но все они об одном, это потому что их основа – мораль и нравственность. Неважно, в кого или во что верить, главное верить, в этом весь смысл и идея религии, это регулятор поведения для человека, контроль за порядком и гуманностью.

– А ты во что-нибудь веришь? – с интересом спросил я, не думая о том, что этот мой вопрос мог быть неуместен.

– А я за бога всегда воспринимал саму жизнь, наверное, это было понятно по всем моим стихам. Видишь ли, она просто полна случайностями, которые вовсе не могут быть случайны: если подумать, то каждая случайность какая-то судьбоносная и что-то в себе для нас несет не просто так, – как будто бы посылает нам их специально, чтобы мы в чем-то исправились, что-то изменили в себе и своем будущем, что-то поняли. Если что-то высшее, следящее за нами, и есть, то это не живое существо – это сам мир, жизнь, бытие, то, что старше Вселенной, то, что есть за ее пределами сейчас, и то, что было до нее, что было всегда. Это что-то огромное, невообразимо гигантское, что объединяет всех и все, каждую частичку во всем – материальном, и пустом – пространстве. Не знаю, как это назвать, но именно это посылает нам случайности. Не хочу, чтобы ты понимал меня неправильно, но как произошло – значит, так и должно было произойти, нужно

было так кому-то. В конце концов, раз есть счастливые, то должны быть и несчастные, которые будут за тех, у кого все хорошо, грустить; чтобы кто-то там, далеко на этой планете, получил радость, ты должен был опечалиться; чтобы кто-то что-то получил, у кого-то другого надо было отнять. Это весы, здесь есть баланс: плохое сменяется хорошим, хорошее сменяется плохим, но если пока что жизнь чего-то недодала, то это значит, что у нее припасено что-то куда более стоящее. Тебе тоже стоило бы поверить во что-то – жить легче будет. Попробуй поверить в то, что жизнь все воздает тем, кто много работает, и работай. И если сильно чего-нибудь захочешь, то так все и будет. Поверь мне. Моя вера приносит практическую пользу моей жизни. «Во что веришь, то и есть»¹.

– Да, наверное... И правда никак без веры.

– Никак! Ее нельзя отнимать у души, иначе душа загниет пороками. А плохих людей и без того достаточно... Нельзя ничего из того, что может случиться, допустить.

И он прекратил говорить на какой-то момент, и тогда меня со скрежетом ударила по ушам оглушающая тишина, а вокруг снова вдруг стало так кромешно темно, словно все облили угольной краской. Действительно, эти люди вокруг будут только разрушать установленный порядок – вот она, причина, которая заставит укрепить его и сделать лучше. Пора

¹ Афоризм из пьесы «На дне» М. Горького, действие второе. Слова принадлежат пожилому страннику Луке.

брать дело в свои руки, пора начинать!

Вскоре угольки, эти маленькие красные пятнышки на черных, покрытых плотным слоем сажи головнях, потухли, а темнота, поглотившая несколькими часами ранее всю поляну, отступила. Мрак отходил прочь, высвобождая из своей непроглядной мантии траву, кусты и озеро; небо, своей таинственной бездонностью спрятанное во тьме, стало с востока синеть. Отраженный от него свет мягко разливался по земле, прогоняя ночь, и с минуты на минуту должно было взойти солнце. Мы с Юстом просидели все это время в тишине, буквально погребенные под тоннами мыслей, пытливо перебирая все, что навалилось в головах. И среди свалившейся надо мной кучи вопросов и ответов, которые я сам для себя отыскивал, меня вдруг поймала грусть: я подумал о том, что той прекрасной компанией, какой мы сегодня собрались, мы уже больше не соберемся никогда. Все эти люди, которые окружали меня и веселили, – их больше не будет со мной: все мы разъезжаемся, и это конец... От такой мысли на душе защипало легкой тоской, хотя все мы пока еще и были вместе, здесь, на турбазе; но я смотрел уже далеко вперед, на то, что будет, и, по существу, там не будет ничего веселого, если не будет их. Они все мне стали близки за эти десять лет, как родные, и меня охватило такое противное ощущение, словно я отрываю какую-то часть от себя. Быть может, на меня просто напала унылость – томление после целой ночи всплесков разных чувств, и все же в душе я опал. Юст тоже сидел пе-

чальный, однако в этом не было ничего удивительного – его обычное состояние: он всегда тоскует, и никому непонятно, по чему. В таком скверном состоянии мы молча дождались рассвета.

Наконец в мои глаза ударил яркий желтый блик – это протянулся первый солнечный луч. Мы встали и обошли кусты, загораживавшие восточный горизонт, и смотрели на маленький светящийся сектор – дугу, вырвавшуюся из-за холмов по ту сторону озера. Слоистые облака, плывшие ровной гладкой полосой по небу, окрасились в теплый блекло-лимонный цвет, и на озере, по водным разрезам, делавшим его поверхность похожей на гигантскую терку, распласталось их отражение. Этот желтый приятный цвет заливал все вокруг – домики, деревья, траву, и как будто бы возвращал в них жизнь. Освещенный и видимый мир точно оживал: на лужайке что-то зашуршало, на деревьях голосисто и приятно запели птицы, и возле домиков неспешно, вяло заходили люди. Утро улыбалось нам: блески на воде и яркое небо – они были так светлы и чисты, словно поздравляли нас и, подобно родственникам, отправляли в собственный путь. И тем не менее их чересчур безоблачный и лучистый вид, слепящее великолепие, выразительность, выпуклость – все это обижало меня и навеивало только больше грусти, потому что напоминало лицемерного, говорившего с тупым и бессмысленным красноречием слишком милого человека, который старательно и неестественно раскидывается приятными словами, отчего

его можно сравнить с приторным тортом, сладким и гадким.

– Раньше рассвет мне казался каким-то сказочным великолепием, истинным чудом, в нем было что-то завораживающие и магическое... – вдумчиво и тихо, отвлеченный от окружающего и вовлеченный полностью в себя произнес я. – А теперь я просто знаю, как и почему он происходит, и он перестал для меня быть особенным.

Юст чуть помедлил – вероятно, отрывался от груды своих мыслей, – а затем повернул голову в мою сторону, кивнул и чуть улыбнулся такой разбитой и слабой улыбкой, как у больного, и приобнял меня за спину. Я также положил руку ему на спину, и мы долго вглядывались в небо, наверное, до тех пор, пока солнце не выкатило из-за холмов желтым диском наполовину. Потом мне нужно было идти собираться, помочь отцу с матерью и умыться, и я отпустил Юста и уже развернулся, чтобы уйти, когда вдруг неожиданно даже для себя напоследок бросил:

– И как же странно, что все люди просто не могут быть хорошими?

На этот раз Юст отреагировал моментально и по-доброму рассмеялся, и его голос прозвучал мягко и тепло. Впрочем, это и не был смех – так, смешок, ласковый и не добрый, а, скорее, одобрителный: таким смешком родители обычно удивляются детской наивности.

Глава шестая

Большие деревянные усадьбы с балконами на мансарде; фигурные и гладкие синие ели и высокий папоротник, можжевеловый с крупными синими ягодами; эти разноцветные люди, бредущие из стороны в сторону, то к озеру, то обратно в свои домики; кремовое светлое небо, очистившееся от растянутого ряда плоских облаков и теперь казавшееся выпуклым, в своей ясности бесконечным – я все это вдруг страшно полюбил. Теперь мне и не вспомнить, и не понять ту странную перемену, перелом, случившийся в моих глазах, после которого я увидел мир совершенно иным. Наверное, это все слова отца. Я ведь пошел к ним с матерью, чтобы помочь собрать вещи, и попал как раз вовремя. Хотя все вещи они уже собрали, я успел прийти на выручку отцу, когда он тащил сумки в машину. Я догнал его, подхватил один из тяжелых пакетов, и мы направились к стоянке вместе.

– Здоровый ты стал, Илюх. Слушай, правда: бывает вот так – подбежишь откуда ни возьмись, а я и подумаю, что бандит какой, – отец посмеялся, его голос был добр и спокоен.

Я рассмеялся в ответ, мы произнесли несколько бестолковых предложений – это то, что называется ни о чем.

– Почему ты так невесел, Илья?

– А чему мне радоваться? Все, что там, дальше, так непонятно и резко...

Отец посмотрел на меня полными вдумчивыми глазами:

– Как чему? Радуйся тому, что у тебя есть ноги, что ты ходить можешь. Бывают люди в твоём возрасте и даже моложе, которые лишены и таких простых вещей. Разные беды случаются: вот кто-то есть сам не может, кто-то к коляске прикован инвалидной на всю жизнь, у кого-то близких нет, семьи нет, друзей, кому-то жить осталось пару лет, а кому-то и жить негде.

Я же это к тому говорю, чтобы ты понимал, что не у всех есть такие преимущества, которые есть у тебя, и тебе надо ценить то, что у тебя есть, потому что есть люди, у которых нет и самых маленьких удобств. Я знаю, ты не любил мне помогать по дому что-нибудь чинить, но сейчас подумай: ведь ты мог мне помогать? У тебя было здоровье. Все становится иначе, когда по-настоящему понимаешь, чего ты мог быть лишен и чем обладаешь. Было бы хорошо понимать это тогда, когда у тебя это есть, чем потом, когда потеряешь. Вот ты о чем мечтаешь?

– Ну... Я хочу стать большим прокурором, – немного задумавшись, ответил я.

– А у меня есть очень хороший знакомый, Мишка Пономарев, который просто хочет снова чувствовать свои ноги. Он мечтал играть за профессиональную футбольную команду, до того как попал в страшную аварию. А сейчас он мечтает ходить. Но уже никогда не сможет сам сделать шаг.

– Я понял, отец, – сказал я ему.

– Это хорошо. Мы с мамой полежим еще немного, через полчаса отправимся в путь. Ты сходи, погуляй еще, пока время есть.

Отец мило улыбнулся мне и ушел, а я еще несколько минут разглядывал свои ноги, трогал их, мял, чтобы почувствовать легкую боль. И ведь правда: как же хорошо иметь ноги и шагать по этой земле, по этому берегу! Я представил, что у меня их нет, что я не могу управлять ими, и подался всем телом вперед, но ноги в движение не приводил – и упал навзничь. Лежа там, лицом в сухой соломе, рассыпанной поверх мягкой черной земли, на мгновение закрыл глаза и пошевелил пальцами на стопе. Какое это странное, приятное ощущение, если о нем думать! Тогда я встал и вдохнул свежий, пропитанный медовым ароматом благоухающих цветов поток ветра. Он был легок и сладок, им было вкусно дышать. Похоже, это случилось как раз тогда: серое будущее, наполненное тоской, печалью и необъятной тайной, в один миг окрасилось в самые яркие и теплые оттенки, тени, метавшиеся вокруг него и кладущие на все черный отпечаток, озарились и исчезли, их просто стерло, как свет солнца стирает темноту ночи по утрам. В самом счастливом расположении духа я направился к пристани. Там, на обрыве у берега, стояла стеклянная прозрачная беседка. Возле нее, на деревянной дорожке, я сел, рассматривая хрустальную, поутреннему холодную воду.

Солнечный диск, полностью выбравшись из-за горизон-

та, ясно глядел на мир и навязчиво протягивал свои лучи ко всему: к камням у берега, к кустам возле них; он проникал в окна домов и играл светом на стенах, кроватях, полах, раздражая людей, пытавшихся еще выспаться; он, подобно счастливому и воодушевленному мечтателю, как бы оповещал все живое о начале нового дня, призывал любить – любить все подряд. Где-то в больших раскидистых кустах, покрытых сетчатой листвой, звонко и растянуто гикнула маленькая птичка.

Как же все-таки это одновременно страшно и интересно – то, что нас ждет. Да, много неожиданностей и неприятностей – наверняка, но сколько приключений! Все мы наконец отправляемся в свое плавание. Неизбежно близится час, который все с таким нетерпением ожидают: начало взрослой, новой жизни, как принято говорить; наступала пора самостоятельности и абсолютной свободы, бесконтрольной в самой высшей степени. И такая радость меня переполняла, я был и воодушевлен, и возбужден, и все еще торопился, как-то странно пренебрегая последними минутами – такими, которыми всегда стоит насладиться, а не отгонять подальше. Я так рвался скорее вперед, туда, во время, которое казалось мне теперь счастливым; так рвется в море матрос на первом своем плавании: он суетится, бегаёт от нетерпения и жадно смотрит на горизонт. Ему видятся чистые просторы без лесов, без гор и вообще без всякой земли, а за ними только бескрайние воды, гладь океана и обширное небо, порождаю-

щие приключения бури, грозы, страшные водовороты, – вот куда я хотел, и скорее!

Какие возможности открывались нам! Право, лево – все стороны и сферы, все пути и дороги. А какое же это удовольствие – не бояться осуждений и не ждать на что-либо разрешений. Никакие глупые и стыдные вопросы, что преследовали ранее за каждой мыслью, теперь не имели своего прежнего смысла – теперь все проще, теперь все что захочешь. Отныне все в наших собственных руках. Если это и не было всемогуществом, то уж точно являлось неприличной, крайней степенью вседозволенности, что, по существу, то же самое, только по-другому названо. Вседозволенность... Во всяком случае так казалось.

Вся жизнь мне теперь виделась счастливой, свободной и вечной. Все люди – ее части, и я безумно торопился стать ее полноценным живым составным, составным чего-то невообразимо длинного, огромного, великого, но незримого; чего-то, что началось уже очень давно, миллиарды лет назад, и что упирается в своем конце в бесконечность времен; что связывает все существующее – живое и неживое, всех, кто когда-либо жил, и всех, кто когда-нибудь только будет жить; я хотел быть с ними, хотел быть деталью этого большого и невероятного, непонятного мира!

Мне представлялись дни в университете: как это замечательно – сидеть в ступенчатой аудитории под мягким светом белых ламп в ранее темное утро и слушать огромную

лекцию; мне представлялась прогулка по красивой каменной набережной и парковым аллеям, накрытым густыми ветками клена, с какой-нибудь милой девушкой в поздний вечер, ослепляющий красками уличных фонарей. А как я буду возвращаться домой!.. В небольшую, но уютную, аккуратно обставленную комнатку, тихую и спокойную, из которой будет открываться вид на мою новую улицу. На яркую, хорошо освещенную улицу, где у разноцветных домов отличный и чистый вид, а молодые клены ровно и округло подстрижены.

И самым главным во всех этих вещах было, безусловно, именно искушение свободы – самостоятельной жизни, в которой все решения теперь всегда будут приниматься непосредственно самим мной, по крайней мере я в это очень верю, до жадности. Что готовить на завтрак, когда приходит домой, во сколько уходить, сколько собираться – все бытовые мелочи, на которые раньше я мог не обращать внимания и из которых прежняя моя жизнь состояла независимо, отныне будут лежать на мне. Это накладывало тяжесть ответственности и добавляло веса всем моим отныне сказанным словам и всем отныне совершенным действиям, – впрочем, и то меня не пугало, а, наоборот, доставляло великое удовольствие, ведь отношение людей ко мне теперь поменяется, они будут смотреть и слушать меня по-другому: среди них я стану таким же полноправным взрослым человеком. Эти мысли, эти идеи, эти мечтания о грядущем почти полностью вовлекли меня в тот еще пока не случившийся мир, и я весь

в нем утопал. И все четче я видел свою новую жизнь, грезил ею, все более ясные отрывки из нее приходили в голову, и размытым пятном мутнелись воспоминания о жизни детской, прошедшей, последние дни которой я ловил и одновременно пропускал сквозь пальцы, как будто перебирал старые вещи, без раздумий и с отвращением откидывая все подряд.

С таким нетерпением существовал я уже около месяца, но если прежде только трепетал от страха и треволнений перед неопределенностью, то теперь я с ненасытным голодом выдумывал себе эту жизнь и уже успел вообразить многое, может быть, даже лишнее. Я распланировал всю свою жизнь: семья, дом, машина, деньги, и в душе только восторг, блаженство, ликование – для всего остального просто не осталось места. Все в корне поменялось – само понятие о существовании человека перевернулось с ног на голову, и мир в один незаметный миг стал другим, непохожим, отличным... И люди, что ли, тоже... Совсем не те, что были раньше. И все-таки оставалась теплая печаль на сердце: я скучал по тем моим друзьям, с которыми мы уже больше никогда не сядем на урок и, скорее всего, больше никогда ничего не сделаем вместе. Скучал!

Но эта легкая грусть, будто пыль в груди, размывалась радостью долгожданной встречи с новой жизнью. Я думал о счастливом, свободном и вечном. Мне все казалось таким радостным и веселым, счастьем веяло от всего, я был как бы

опьянен свободой и вытекающими из нее наслаждениями, что на меня навалились... Мысленными, пока только воображаемыми, но они непременно случатся! Я был готов обнимать землю!

Внизу, слева от меня, что-то колебалось. Это раздражало мои глаза, и я опустил их на деревянные дощечки. Там, завав в какую-то крошечную щель, тощий муравей пытался поднять кусочек чего-то зеленого и тонкого – наверное, листа. Нисколько не раздумывая, я поднял листик, а затем и самого муравья на дощечку. Эта малявка подхватила свой листик и побежала дальше по деревянной дорожке. Это странная доброта меня переполняла: мне вдруг захотелось нарвать муравью еще дюжину таких листочков, свежих, чистых, без всяких болезней, и принести их в муравейник, чтобы помочь этим маленьким насекомым! Я был влюблен в мир, и казалось, мир в ответ любил меня: он словно окутывал меня со всех сторон хорошим и приятным.

Солнце всходило. Его яркий желтый диск протягивал свои лучи к земле и золотил воду, заставляя ее волшебным образом блестеть. Небо нависало бездонной кремово-голубой оболочкой, а кучевые фигурные облака, резкие и четкие в своих крутых формах, были похожи на гигантские корабли. На горизонте никаких серых и мятых туч, влажный свежий ветерок игрался с ветками деревьев и кустов; новый день только начинался, и он обещал быть прекрасным.

Эпилог

С каким-то необычным, особенным железным скрежетом колеса равномерно отбивают пути... Вагон катится туго и вяло, с надрывом перескакивая с рельсы на рельсу, как издыхающий зверь. Мгновениями мне кажется, что эти тупые балки обмазаны чем-то липким и склизким и цепляют наш поезд, заставляя его торкаться и так тяжело ехать. А за маленьким квадратным окном, прикрытым слева сиреневой шторкой, торопливо сменяются пейзажи: поля, лесополосы, медно-серые плантации пшеницы и высокие ряды ржи – все мажется и, попадая в рамку лишь на миг, расплывается и выглядит текущим, как на картине экспрессиониста; какие-то зеленые двухъярусные заборы, беспорядочно разбросанные близ дороги, сбившиеся в беспросветные кучки заросшие кусты, словно намеренно сваленные в одно место ветки, сырые топи, полные мертвого вонючего воздуха и гнилых деревьев, оставивших от себя только страшные шуплые стволы. Не самые приятные виды, особенно при таком противном, дерганном движении. Вдобавок ко всему августовские расцветы совсем не похожи на июньские: времени сейчас – пять утра, а солнце еще ни на сколько не выкатило из-за горизонта. Холодное пепельное небо бросает на землю ледяной призрачный отсвет, делая скучные ее виды еще более унылыми и гнусными.

По правде говоря, мне и в купе нечем заняться: четыре спальные койки, две вверху, две внизу, и маленький треугольный столик – все уже ржавое и так пронзительно, свистяще скрипит. Мой попутчик – лысый изможденный мужик с большой дыркой на правом носке – крепко спит на верхней левой полке и тихо, но равномерно сопит почти в такт стуку колес. Я же отчего-то бодр. Бодр? Нет... Скорее, не могу уснуть: не спится. Вся ночь для меня пролетела как в лихорадке: я вроде бы и засыпал, да только мучился во сне – от жара, от холода, от неудобства; я чувствовал себя неуклюжим великаном в маленькой детской кровати. Кажется, разок мне даже что-то привиделось: с мамой мы гуляли по большому центру какого-то незнакомого пестрого города, и она улыбалась мне. Этот сон длился всего пару секунд, а затем все исчезло. Просто пропало – я стал видеть только привычную черноту в сомкнутых веках, хотя в ушах еще раздавались какие-то приглушенные крики матери. Я тогда проснулся от холода... в последний раз. Больше даже не пытался заснуть в этом чертовом поезде. И вот, окончательно потерявший надежду на хороший здоровый сон, я сел у окна, тесно упершись к стене. Света я не включал, а потому сижу сейчас в полупрозрачной и легкой, похожей на пыльный налет темноте. Серый призрачный воздух неподвижен, пуст и безвкусен, его как будто бы и нет. На дверном зеркале расплываются блеклые тени. В купе так бесшумно, словно тишина здесь застыла, – так тихо, что кажется это не тиши-

ной вовсе, а странным молчанием. Я даже слышу здесь свои немые мысли, по-особенному звонко раздающиеся в моей голове сплюсненным твердым голосом, они точно летают в этом стоячем, забитом воздухе, и жужжат. И за окном все текут и текут угрюмые поля...

Что ж, вместо того чтобы наблюдать эти безразличные и гадкие картины в окне, я мог бы еще поспать минут пятнадцать-двадцать. Но это вряд ли. Мы прибудем на станцию только в половину шестого, и, стало быть, впереди у меня еще примерно полчаса.

С тех пор как мы отмечали выпуск, прошло уже два месяца. Два одновременно свободных и угнетающих месяца... Временами было очень весело гулять по городу и, вдыхая свежий приятный воздух, наслаждаться ощущением того, что школа, треплющие нервы экзамены и все прочее, обременявшее ежедневной ответственностью, позади. Вчера, сегодня и даже завтра я никто и нигде, я просто есть и мне никуда не надо. Какое-то это странное чувство счастья?.. Но все же счастья. Загоняло в переживания и беспокойство только поступление: где и кем я буду осенью? Однако и это не создавало столько противного настроения, сколько упущенные встречи. За целых два месяца лишь за редким исключением я мог увидеть знакомых. Так оказалось, что все, что нас хоть немного связывало, – это уроки и задания, но больше не было ничего: по эту сторону учебы мы были чужими... Не так часто я стал видиться и со своими обычными друзьями: все в

делах, что-то делают, чем-то занимаются... А теперь мы все разъезжаемся. Да, немного тоскливо и грустно, но все-таки... Все-таки эта новая жизнь, новые люди, новые заботы – я уверен, оно того стоит. Дорога вперед всегда оставляет что-то позади.

Что касается Жени и Юста, они работали все месяцы над своей крупной статьей. Юст передал мне небольшой отрывок в конверте, перед тем как уехать в Москву. Он поступил на филологический факультет N-ского университета. Еще вчера вечером, лежа на своей койке под лампой, я развернул этот конверт и прочел вначале письмо, написанное от руки самим Юстом и приложенное к отрывку:

«Дорогой Илья! Сейчас ты прочтешь лишь незначительную часть нашего большого труда. Ты получил еще пока только черновой вариант, править работу я буду, уже находясь в Москве. Не сомневайся в нашем общем успехе, как не сомневайся и в том, что мы еще точно увидимся. Главное, сам правильно понимай, куда ты идешь и к чему стремишься. Думай больше. Большие мысли – для больших людей.

Как прочтешь, прошу написать мне или позвонить. Я должен узнать твое мнение обязательно! Удачи, дружище, не теряйся».

В этом письме было что-то классическое, как во всех письмах, которые раньше создавались от руки, – хотя бы сам факт его написания. Меня это совсем не удивило, ведь Юст как человек не просто занятый в творчестве, а с головой по-

груженный в искусство, нередко мог себе позволить обращаться и к прошедшим эпохам. Куда интереснее был для меня сам отрывок:

«Они считали нас простыми и понятными – эти старые люди, – а себе приписывали точнейшую проницательность, а оттого правоту. Они учили нас восхвалять великих, принижая самих себя за то, что все мы обычные и пошлые и совсем не такие, как эти великие – одаренные и гениальные, сближенные с высокими и светлейшими ценностями. Выставляя на пьедестал достойнейших, они мешали и себя, и нас в ничемный пласт ничего не умеющих и бесталанных и считали, что такому пласту должно быть стыдно. И что хуже всего, они были твердо и неопровержимо уверены в том, что если они опытнее, то непременно много знают и много правильного говорят, однако из всего этого в действительности они делали только одно: много говорили. Их опыт – это прошлый опыт, все, что нужно было из него взять, уже взято, а сейчас другое время.

Мы им были удобны подчиненными, наш мир изначально строился по их подобию, как по шаблону, а если кто-нибудь начинал своевольничать и делать то, что ему нравится, вместо массы полезных и бесполезных предметов, тут же вызвали на беседы, ругали, кричали – словом, всячески препятствовали просвещенной самодеятельности; именно так: осуждали. Они делали то, что от них требовали другие, и, когда видели, как человек может жить хорошо и просто, то

завидовали. Или боялись? Некоторые из них переживали за наши судьбы, но только потому, что не знали иной жизни и не верили. Они так и жили: страдали, работали за себя и за других и почитали великих гениев, словно культисты, а сами жили скромно. И как не верили они в себя, так не верили и в нас.

Всю жизнь ими правят и будут править обстоятельства – они ничего не создают. Это потребительство: они ходят по чужой веревке; все, что только скажут люди, которых они сами причислили к умным и мудрым за их состоятельность, они впитают и потребят, как губки, но не станут обдумывать. Впрочем, если и станут, – все равно: их мысли заведомо будут оправдывать полученные слова, какими бы те ни были на самом деле. Они делают то, что от них требуют, но не то, что хотят сами, и считают, что это нормальный жизненный закон – труд. Но что программисту огородный удел, а фермеру – компьютер?

И даже выбор профессии, который встает перед людьми, – он ограничен только специальностями... Ведь никто и не думает о том, кем бы он по-настоящему мог стать. Вы понимаете, о чем я?

Их мир построен неправильно: в страхе и молчании, он подчинен. Какая-то свинья загнала их в лужу и грозит, а они, мало того что сами не в силах встать и дать ей хорошенько по морде, останавливают других: «Ну мы все такие, куда ты вырисовываешься?». Еще давно я вывел для себя эту истину:

людям невозможно по-настоящему поверить в то, что рядом с ними может жить человек, который способен встать в один ряд к тем, великим. Они все знали – это была одна из тех действительно умных вещей, что они и правда говорили, но, к сожалению, не понимали, – известную фразу: «Никто не смотрит на путь достижения, все смотрят только на результат». Однако, вместо того чтобы это выражение осмыслить и извлечь из него важное, они продолжали поражаться удивительно успешным судьбам, но осуждать других за попытки представить что-то собой. Видите ли, человек может заниматься только тем, что у него получается, – неизвестных, совершающих отчаянные поступки, они называют идиотами. «Не умеешь – не берись», так они говорят. Что за свинья это придумала?

Я просто хочу сказать, что они не умеют быть хозяевами в своей судьбе. Все их успехи – воля и, может быть, жалость случая, их подчиненный труд бессмыслен и бесплоден. Они боятся или не понимают другой жизни, и осуждают, и завидуют, и продолжают потреблять. Лишь немногие из них творят и поступают так, как хотят, – хозяйничают в своей жизни. Человек сам должен создавать обстоятельства, иначе обстоятельства будут создавать его, что в корне непожизненно.

Они ругали нас и глумились, а мы смеялись над ними, и это справедливо и обычно. Они позволяли себе во многом нас попрекать, даже если мы в землю валились от ошибок, вместо того чтобы протянуть дружескую руку, – но это не

имеет значения: завтра наступит, и они вновь отправятся на свою работу, на которой будут пахать, как проклятые, против желания и будут бесплодно, за недостойные их деньги трудиться, а мы же – мы смело ступим ногой в новый, еще неизведанный и открытый нам в широких дверях мир и будем творить. Мы докажем. Я докажу.

Нехороших и ядовитых людей будет хватать достаточно всегда и везде: словно сорняки, такие вылезают откуда угодно, и даже там, где, казалось бы, их совсем не может быть; и я вовсе не ручаюсь, что в наше время не будет мерзавцев. Все дело в том, что не бывает однозначных побед добра или зла с преобладанием массы одного над другим, ведущих к просвещению. Знания и ум – это сила, качество которой определяют сами люди. Но общество, тупое и неорганизованное, действующее из слепых, неясных побуждений, эта несчастная толпа никак не повлияет на развитие. Они лишь делают вид бурной жизнедеятельности, хотя творит и создает отдельная личность, индивидуальность, которая посмеет подняться из лужи и, оторгнув трусливых гнусов, дать по морде за всю эту грязь ответственной и бездарной свинье.

В последнее время таких стало больше, пусть прошлое время и наложило печать потери на целые поколения, и я просто хочу надеяться, что мы можем быть лучше. Мы не будем говорить бездарных глупостей, пошлых и заезженных, всеизвестных истин ушедшего – только новое, только непонятное; мы будем объективны, по-настоящему справедливы

и добры; впрочем, насчет последних я и вправду вынужден усомниться.

Мы уничтожим прошлый скверный жизненный уклад, когда страшно сказать и сделать, – я сам это докажу. Докажу всем!..

Скоро мы вступим в этот мир, как штамм прививки, разольемся по планете и будем воздвигать, создавать, творить! И станем частью огромного, связывающего всех и все бесконечного пути. Все мы оставим свой след, как его оставили наши отцы. И я обещаю: мы будем лучше».

Первое, что мне бросилось в глаза при прочтении, – это Я. Его так много, что оно режет весь текст и въедается в мозг. Но ошибка ли это? Вот над чем я задумался тогда. Ведь не такое уж оно, это Я, лишнее в этом тексте. Все как и должно было быть: серьезная статья в эмоциональной оправе. Впрочем, даже если с его употреблением действительно переборщили, то Юст исправит этот момент. А так, если не обращать внимания на это Я, то мне очень нравится последнее предложение: «Мы будем лучше». Из этого получается отличный девиз.

Нет, отрывок определенно неплохой, хотя в нем и не до конца раскрыты все идеи, что логично, ведь это только часть их статьи. Я расстроен лишь тем, что этот набросок оставил меня в недоумении, и теперь я в чудовищном нетерпении буду ждать, когда выйдет полная исправленная статья, – так я и написал Юсту вчера, перед тем как лег отдыхать. Навер-

ное, он еще спит и пока мне не ответит, но я точно знаю, что выпустят они с Женей ее скоро, может быть, уже через пару недель.

Со вчерашнего вечера я об этом не думал. Дурной сон отгонял от меня все мысли и страшно мучил. Хоть я и сижу сейчас у окна в достаточно здоровом состоянии, мне уже и не представить, от чего я так сильно страдал. Наверное, от жуткого желания поспать, в то время как я не мог этого сделать. Да впрочем... Это уже неважно. Вдалеке я начинаю видеть огни – большие дома, высовываясь из-за маленького леса и упираясь под самое небо, светятся яркими цветами и пестрят. Солнце с минуты на минуту покажется из-за горизонта, но отсюда его, скрытое грядами кустов и деревьев, еще пока будет не видно. Серая и мутная природа начинает исчезать, ее становится меньше, и все больше на нашем пути появляются станции, грязных и безлюдных.

Въезжаем в город. С этой стороны он выглядит менее красочным, но зато сейчас, прислушавшись, я решительно могу сказать о его шумности. Дома здесь из каких-то других панелей и кирпичей... Они не как у нас. И домов еще больше. Вижу недалеко от железной дороги аллею. Помню, как я рассчитывал на то, что там будут клены, но это не они... Это куда более высокие и стройные хвойные деревья, которых у нас нет. Раньше я их не видел, странно вот так смотреть на них в первый раз. Теперь подъезжаем к самой станции. Из-за крыши здания вокзала я заметил, как в городе стоит плот-

ный лиловый туман. Сквозь него, как сквозь темную вуаль, город кажется пустым и черным, его большие дома, твердые и мрачные, словно облитые маслом, глядят на меня опасно и загадочно...

Выхожу.

– ...Это будет неправильный мир? Да он уже неправильный. И как ты можешь продолжать верить в людей? Я только больше убедился в их никчемности. И прав был Женя, и незачем урезать и корректировать его настоящие слова!..

– Ваша правда лишь в том, что будущее наступает благодаря нескольким индивидуальностям – гениям своего века. Масса... Человеческий табор действительно бесполезен для эволюции и вообще для прогресса, он может только потреблять чужое, уже кем-то приготовленное, но скотиной я их не позволю называть никому. Они все родились не просто так – у каждого есть свое назначение, все живут ради чего-то прекрасного. Да хотя бы для того, чтобы влюбляться и влюблять в себя, чтобы стать смыслом для других людей, чтобы никто не остался в одинокой тоске. Ими нельзя пользоваться, как материалом, даже если вы хотите использовать их в целях прогресса. Зачем нужен будет новый и правильный мир для тех, у которых вы отнимите самых дорогих и близких?

– Были бы все такими пацифистами, как ты, то никакого настоящего просто бы не существовало! В прошлом люди бы не отдавали себя на расправу ради чего-то большего, по-

нимаешь? Ради чего-то большего! Пацифисты обожают выступать за мир, за жизнь и за то, чтобы не было жестокости, но вы не понимаете, что даже современный мир, к которому пришло человечество, построен на крови и жертвах. Есть цели, стоящие куда больше простой человеческой жизни.

2023